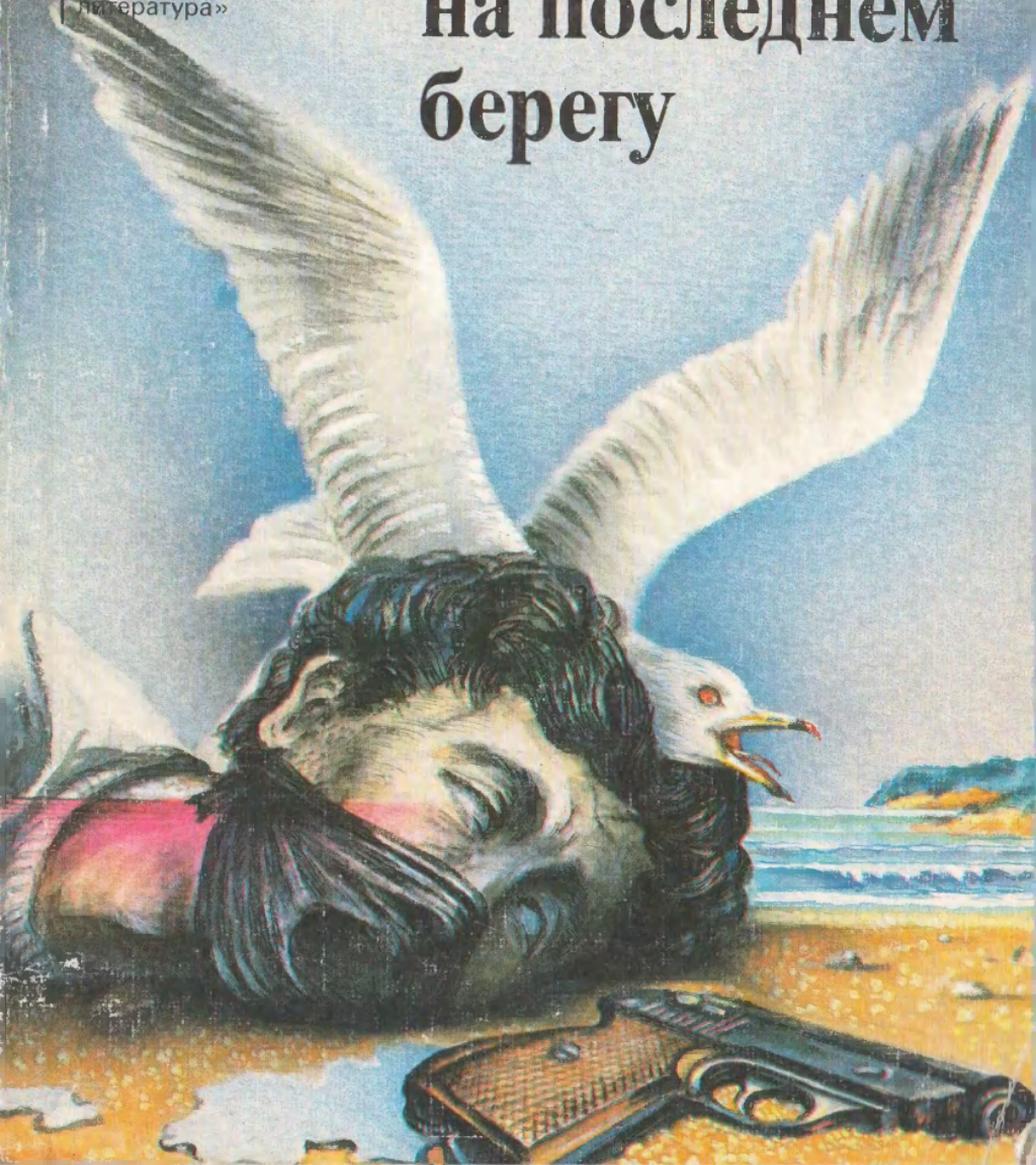


**И  
Л**

Библиотека  
журнала  
«Иностранная  
литература»

Кристобаль  
Сарагоса  
**И Господь  
на последнем  
берегу**



# Cristóbal Zaragoza

Y Dios en la última playa

Кристобаль Сарагоса

# И Господь на последнем берегу

Роман

*Перевод с испанского  
и предисловие Хуана Кобо*

Москва  
«Известия»  
1990

**И (Исп)**  
**С20**

*Ответственный редактор Библиотеки «ИЛ» В. Перехватов*

*Редактор М. Канторович*

*Рецензент Э. Брагинская*

*Обложка художника В. Освера*

**С  $\frac{4703000000-004}{074(02)-90}$  65-90**

**ISBN 5-206-00053-1**

© Cristóbal Zaragoza, 1981.

© Оформление, предисловие, перевод на русский язык издательство «Известия», журнал «Иностранная литература», 1990

## Истины, к которым надо возвращаться

Писательская судьба Крестобаля Сарагосы, автора предлагаемого вниманию советского читателя романа «И Господь на последнем берегу», примечательна прежде всего тем, что он, в отличие от большинства своих коллег, очень поздно дебютировал в прозе. Окончив факультет философии и филологии в Валенсии, К. Сарагоса долго преподавал в школе, сотрудничал в газетах и журналах и лишь в 1969 году, когда ему исполнилось 45 лет, впервые опубликовал сразу два романа — «Оглушающая тишина» и «Они не обрели земли обетованной». Откликаясь на эти произведения, испанская литературная критика единодушно отметила: родился новый писатель.

И, как бы наверстывая упущенное, К. Сарагоса, реализуя задуманное задолго до этого и лежавшее в набросках, быстро отзываясь на стремительно меняющуюся действительность, стал публиковать книгу за книгой. Перечислить их здесь все представляется невозможным: писатель издал более двух десятков романов и публицистических книг, которые отмечены печатью пристального внимания к наиболее острым социальным явлениям на его родине, трактуемым автором с левых, прогрессивных позиций.

Многие из произведений К. Сарагосы стали литературными событиями, были отмечены престижными литературными премиями.

Для произведений этого писателя наряду с отмеченными уже социальной направленностью и внутренней полемичностью характерны и острая форма, умело «закрученный» сюжет, не оставляющий читателя равнодушным.

Все эти качества в полной мере присущи и роману, с которым вам предстоит познакомиться. На его долю, пожалуй, выпал самый большой успех. Он был опубликован в 1981 году, получил самую крупную в Испании литературную премию издательства «Планета» и с тех пор многократно переиздавался, был переведен и в других странах.

Роман «И Господь на последнем берегу», который с определенными оговорками можно отнести к жанру популяр-

ного сейчас в Испании политического детектива, прост и в то же время сложен. Прост потому, что, как и другие произведения писателя, написан в традиционной реалистической манере, которую автор твердо избрал с первых шагов на литературном поприще, его позиция ясна и недвусмысленна, проблемы четки и просты.

Богатство и сложность этого произведения, на наш взгляд, заключаются прежде всего в том, что в нем органично переплетаются два плана, придающие повествованию особую многомерность и объемность. Первый, лежащий на поверхности: изображение волны политического терроризма, захлестнувшей Испанию в тот момент, когда писался этот роман. Второй: постановка автором через остросюжетное повествование, построенное на четкой исторической конкретике, глубоких философских вопросов, анализ острых и драматичных морально-этических коллизий, которые порождают терроризм, независимо от почвы, на которой он произрастает.

Последний — и концептуально наиболее важный — план романа «И Господь на последнем берегу» не нуждается в особых комментариях: он без всяких пояснений доступен пониманию любого читателя, где бы он ни жил, совершенно неважно, согласен он или нет с установками автора. А установка здесь совершенно однозначная: К. Сарагоса не приемлет терроризма в принципе; он считает, что какие бы причины ни вызывали его появление, под каким бы цветом — белым или красным — он ни выступал, в конечном итоге он обречен на поражение, он заводит в тупик. А те, кто исповедует его «ценности», даже если они исходят из самых благих побуждений, обречены на моральную деградацию и вырождение. Причина тут не только в том, что, по убеждению К. Сарагосы, поддерживающий терроризм человек, если он сохранил хоть каплю совести и разума, с неумолимой закономерностью со временем должен увидеть политическую бессмысленность такого пути (хотя и эта мысль присутствует в романе), — еще важнее другое: сама наша сущность рано или поздно восстает против нарушения глубоко заложенных в нас общечеловеческих ценностей, вековых запретов и установлений, лишь соблюдая которые цивилизация может продолжать успешно развиваться, а род человеческий сохраниться.

Обращаясь к этим нетленным нравственным императивам, автор романа «И Господь на последнем берегу» взывает к основополагающим библейским заповедям. Правда, судя по другим его произведениям, писатель никогда не проявлял особой тяги к религиозному или мистическому мышлению — в одной из своих книг, «Да здравствуют цепи!», он выступает как убежденный антиклерикал. Но К. Сарагоса, несомненно, учитывает, что нравственные критерии, глубоко закрепившиеся в испанском народе, обладающем многовековой богатой культурой, в силу особых условий истории Испании приняли религиозную окраску. А потому К. Сарагоса, хорошо знающий своих соотечественников, выступая с открытым забралом против баскского терроризма и взывая к необходимости соблюдения общепризнанных этических норм, обращается к самым чувствительным струнам в душах многих своих читателей — религиозным. Причем струны эти особенно эмоционально отзывчивы как раз у басков, которые по давней традиции являются одним из наиболее приверженных католической вере народов, населяющих Пиренейский полуостров.

Что же касается того, что мы назвали первым планом романа — той испанской конкретной реальности, на фоне которой развивается повествование, то здесь необходимы пояснения. Без них читателю, мало знакомому с подробностями проблематики современной Испании, трудно будет понять глубинный смысл описываемого, так как по отрывочной информации, мелькавшей и по сей день мелькающей в печати, на радио и телевидении, нелегко составить цельное и четкое представление о том, какой сложной и мучительной проблемой стал терроризм в Испании в 70—80-х годах, какими трудностями он обернулся для этой страны.

Стало чуть ли не общепризнанным фактом, что процесс перехода от диктатуры к демократии в Испании после смерти Франко, последовавшей 20 ноября 1975 года, был на редкость мирным и безболезненным. В определенной мере это действительно так: демонтаж франкистских политических структур произошел довольно быстро, а главное, без резкой конфронтации между сторонниками нового и старого. И к счастью, дело обошлось без новой гражданской войны, которой большинство испанцев не желало и страшилось. Тем не менее в период перехода страны к демокра-

тическим порядкам не раз проливалась кровь, страну потрясали уличные беспорядки, она оказывалась на пороге острейших кризисов, чреватых возвращением ее к прошлому. Дело в том, что в первые годы после ухода Франко с политической арены в стране бесчинствовали многочисленные террористические группы — как открыто ультраправые, связанные с пресловутым «Черным интернационалом» тесными международными связями, так и выступавшие под ультралевыми лозунгами.

И все же благодаря тому, что практически все испанское общество — от умеренно-либеральных представителей его верхов до самых широких низов, объединившихся в устремлении не дать диктатуре вновь восторжествовать в Испании — противопоставило себя кровавой волне насилия, эта разновидность терроризма, порожденная переломным моментом, не смогла пустить в стране корни, она постепенно теряла силу и сошла на нет.

Другое дело — «асфальтовая война», развязанная в стране боевиками-террористами из националистической баскской организации ЭТА\*. Вышедшая еще в конце 50-х годов из рядов националистического движения, имеющего многовековые традиции в Стране басков, эта организация, созданная молодыми и энергичными интеллигентами и рабочими, вначале боролась против франкизма чисто политическими методами. Но с 1961 года она встала на путь вооруженных акций против диктатуры Франко. Сочетание мощного национального чувства, резкого неприятия франкизма и стремления активно бороться против него, элементов прогрессивного сознания (порою декларируемого как социалистическое и даже коммунистическое) дало поразительный сплав, обеспечивший удивительную живучесть ЭТА. К тому же, хотя к началу 60-х годов большинство испанских антифашистских партий и организаций отказались от достижения своих целей вооруженным путем, который народ не поддерживал, демократы Испании, считая выбранный басками путь тактически ошибочным, искренне симпатизировали им, во многих случаях даже помогали. Опираясь на эту широкую поддержку, ощущая сим-

\* Названа так по аббревиатуре ее баскского наименования «Эускадита Аскатасуна», что означает «Свободная родина басков». (Здесь и далее примечания переводчика).

патию большинства населения, террористы-баски, которым диктаторский режим объявил беспощадную войну, после очередного поражения быстро восстанавливали ряды, становились еще сплоченнее, усиливали свои удары.

Казалось бы, начало процесса демократизации после смерти Франко, сопровождавшееся также предоставлением национальной автономии тем регионам Испании, которые добивались этого, должно было быть воспринято руководителями ЭТА и как их победа. К несчастью, такого не произошло. Часть боевиков, правда, оставила оружие и включилась в политическую жизнь страны. Но значительное число их (не надо забывать, что ЭТА весьма неоднородна) не пожелало этого сделать, считая завоеванные всенародной борьбой демократические реформы половинчатыми и недостаточными. Одни призывали продолжать борьбу за полное свержение капитализма; другие требовали выхода Страны басков из состава испанского государства; третьи, судя по всему, превратились в манипулируемые орудия в руках врагов демократизации страны; четвертые, наконец, просто не смогли уже остановиться, вырваться из туго закрученной ими спирали насилия. В результате и после 1975 года, вплоть до наших дней, в Испании боевики ЭТА продолжали проливать кровь часто совершенно безвинных жертв, ибо террористы, чувствуя растущую вокруг себя изоляцию, становились все неразборчивее в средствах, все чаще вымещая обиду и отчаяние на ком попало. Их действия внушали уже не былое уважение и даже восхищение, а страх и ужас. Баскский терроризм превратился в подлинный бич для всей Испании, поскольку боевики ЭТА со временем распространили свои теракты далеко за пределы Страны басков. Из прежних борцов за свободу, своего рода «робин гудов», они постепенно превращались в заурядных преступников.

Впрочем, такая эволюция внутри террористических движений, даже родившихся в знак протеста против угнетения со стороны верхов, дело довольно частое в истории. Но как известно, люди не всегда извлекают из нее должные уроки — часто им приходится вновь и вновь проходить через те же ошибки, чтобы со временем осознать их пагубность. Но за это приходится платить слишком дорогую цену им самим и окружающим...

Столь пространный, хотя, в сущности, и весьма схематический разбор специфических особенностей баскского терроризма в данном случае необходим, ибо без понимания его корней и эволюции трудно понять массу намеков, аллюзий, ссылок, рассыпанных по роману К. Сарагосы.

Твердое и страстное убеждение писателя, которым проникнута вся книга, можно сформулировать так: терроризму во всех его ипостасях, даже если он первоначально выступает под прогрессивными лозунгами, нет места в современном обществе, терроризм — это каинова печать на лице человечества, он тормозит поступательный ход прогресса, разъедает цивилизацию.

Сейчас, в конце 80-х годов, такая оценка может показаться настолько тривиальной, что кто-то будет вправе спросить: «А стоило ли посвящать доказательству этой очевидной истины целый роман?»

Думается, стоило. Эту истину, вобравшую в себя вековой опыт человечества, полезно повторять снова и снова, тем более что и в наши дни терроризм бушует во многих странах и в любой момент грозит, подобно эпидемии чумы, перекинуться за их пределы. Кроме того, не следует забывать: роман «И Господь на последнем берегу» написан К. Сарагосой в те годы, когда на его родине многие единомышленники автора, не соглашаясь в принципе с тактическими установками ЭТА, все же оправдывали в душе ее действия и продолжали симпатизировать ей. Выступление против недавних борцов с франкизмом многими расценивалось как «удар в спину» демократам — хотя и заблуждавшимся, но доказавшим свою самоотверженность в сопротивлении угнетателям. Идти против течения в таких случаях непросто — нет ничего тяжелее, чем рискнуть оказаться не понятым твоими единомышленниками, попасть в невыносимое положение «чужого среди своих, своего среди чужих». И наконец, если честно признаться, разве эти истины, что сегодня представляются нам столь очевидными, виделись нам столь же отчетливо и ясно совсем недавно? Разве многие из нас сами не оправдывали искренне всевозможные формы социального насилия, братоубийственного кровопролития как неизбежные «излишки» во имя «будущего счастья человечества»? Что было — то было.

И то, что мы сейчас в большинстве своем так не думаем

и не чувствуем,— плоды не только нашего личного горького опыта. Это также и следствие неустанной проповеди тех, кто пером и словом доказывал нам незыблемость вечных истин. Среди них почетное место занимают и писатели: от гигантов мировой литературы XIX века до скромных, по сравнению с ними, литераторов наших дней, которыми движет все та же негасимая боль и страсть.

*Хуан Кобо*

День выдался свежий, самый что ни на есть кантабрийский, какие нередко бывают на бискайском побережье. Высокие волны обрушивались на берег и, бессильно сникнув, растекались по песку, оставляя на нем пятна пузырящейся пены. Прохладный и резкий ветер, налетавший порывами с северо-запада, казалось, взлохмачивал и развеивал мысли.

Скоро должно было наступить время купания — пляж заполнят люди, жаждущие погреться на солнце. Это знал мужчина с биноклем, внимательно разглядывавший детей, которые прибывали в сопровождении бронзовых от загара мамаш, спешивших устроиться под яркими полосатыми навесами. Знал об этом и молодой длинноволосый парень, приблизившийся к мужчине решительным шагом.

— Не желаете ли сфотографироваться, полковник?

Кого-то напомнил господину с биноклем голос, прозвучавший за его спиной. Сначала ему подумалось, что это старший сын, любитель всевозможных розыгрышей. А может, зять, обещавший приехать в тот день из Мадрида? Вот почему он терпеть не мог ветра. От него глухота, донимавшая его еще со времен сражения при Эбро\* и с годами все усиливавшаяся, особенно заметно давала себя знать.

Он обернулся, не выпуская из рук бинокля. Черные усики, подстриженные как по линейке, изогнулись усмешливой дугой, словно магнитом притянутые другой улыбкой — той, что излучали глаза. Но неожиданно черты лица отвердели, кадык на тощей шее вопросительно выдвинулся вперед.

— Что вам угодно?

Черные усики снова вытянулись в продольную линию. Нижняя губа, внезапно посиневшая, дрогнула.

\* Сражение при Эбро (лето — осень 1938 г.) — одно из крупнейших сражений времен гражданской войны в Испании 1936—1939 гг. Закончилось поражением республиканцев.

— Да простит нас Бог, полковник,— сказал юноша.

Никто не расслышал звука трех выстрелов.

Полковник, словно собираясь улечься позагорать, медленно повалился набок и так и остался лежать на парапете, отделявшем набережную от песчаной дюны.

Пока юноша пересекал вымощенную плитками широкую набережную, направляясь к видневшемуся у края мостовой мотоциклу «Дукати», в воздухе появилось множество чаек. «Спокойней, Хосечу, спокойней...» Неторопливо, очень хладнокровно он снял мотоцикл с упора, сел на него и, резким ударом ноги по педали включив зажигание, не спеша поехал в сторону центра.

Господина с биноклем опознали два мальчика пяти и семи лет — убитый был их дедом.

В тот же день после полудня о случившемся сообщили по радио.

*Чайка, возможно, знамение. Их, помнится, там было много. Летели они низко, внимательно разглядывали все вокруг своими глазками-стеклышками, вертели головками, косясь в нашу сторону. Но поначалу я на ту чайку внимания не обратил. Надо было все сделать чисто, как положено. Главное — не промахнуться. Две пули — в сердце, третью — в голову, когда враг уже падает замертво. Так и он мучиться не будет, и ты уверен, что добился своего.*

*Враг... Теперь, когда прошло столько времени, я знаю, что враг существует лишь внутри нас самих. Я это понял, когда пытался оторваться от той чайки. Она была огромная и в то же время стремительная. И поразительно ловкая. Отделившись от своих подруг, она полетела за мной. Я мчался на мотоцикле, а она держалась в нескольких метрах от моей головы. Да нет, какое там держалась — она прямо наседала на меня, издавая злые истерические крики.*

*Зрелище, видно, было необычное — люди на террасах смотрели на все это как на цирковой номер. Какая-то девочка даже вскочила на стул и в восторге захлопала в ладоши.*

*Пришлось выжать из мотоцикла всю скорость, чтобы оторваться от преследовательницы. Но разве мне кто-нибудь поверит? Во всяком случае, наши не поверили. Даже Микель. А Усатый, тот плюнул мне под ноги, когда я ему рассказал*

*о чайке,— решил, что я над ним издеваюсь. Я и не стал настаивать. Они ведь теперь считают, что я предатель. Или спятил.*

*А она вдруг свернула в сторону моря и потерялась из виду... Одинокая чайка.*

Микель услышал, как брат вошел в комнату.

— Приходится раскошелиться на тебя и твою Бегоньту,— сказал он, не поднимая головы от стереосистемы, которую разбирал.— На один бензин сколько уходит.

Между постелями братьев (та, на которой спал Хосечу, была смята и не убрана, а из-под подушки выглядывали пышные прелести очередной красавицы, запечатленной на глянцевой обложке «Плейбоя»), в прямоугольнике окна, словно в раме, виднелся ярко-зеленый луг, на нем идиллически паслись лениво жующие, сонные коровы. Если бы не свинцовая полоса шоссе, по которому под палящим августовским солнцем то и дело проносились машины, можно было бы подумать, что это не вид из окна, а полотно, на котором живописец нарисовал местный пейзаж.

— На пляже были? — спросил Микель.

— Я — да.

— Без Бегоньи?

— С Бегоньей все кончено.

Голос младшего брата звучал странно — глухо, будто издадека.

— Так уж и кончено,— улыбнулся Микель, оборачиваясь и вытирая пальцы ветошью. Но когда он увидел лицо Хосечу, улыбка его испарилась. Оно было землистым, совсем чужим. Щеки ввалились, глаза какие-то пустые, незрячие.

— Что с тобой?

Хосечу пробормотал: — Возьми. Он ведь твой.

В правой руке у него был «парабеллум». Держал он его за самый кончик ствола, и оттого рука его чуть дрожала.

— Как к тебе эта пушка попала?

Искривленные губы Хосечу дрогнули в каком-то подобии усмешки. Казалось, его вот-вот начнет тошнить.

— Не принимай меня за идиота,— сказал он и тяжело опустился на постель.

Микель схватил его и сильно встряхнул.

— Ты что, стрелял?

— Догадливый ты, однако.

— В кого? Говори же!

— В того военного.

Микель посмотрел брату в глаза. Его охватил ужас.

— В какого военного?

— Я слышал ваш разговор. С тем мужиком, похожим на цыгана. В этой комнате.

— Что ты слышал?

Хосечу привстал на кровати.

— Все! Вы ведь собирались его ликвидировать. Ну вот, дело уже сделано. Я его только что убил.

— Кого? Кого ты убил?

Ловким прыжком через металлическую спинку Микель преодолел пространство метра в два, отделяющее их от двери. Запер ее на щеколду и вернулся к брату.

— Теперь говори. Кого ты убил и за что?

— Санромана.

От волнения Хосечу прошиб пот. Коленки дрожали.

— Полковника генштаба?

Хосечу подтвердил, опустив веки.

— Все оказалось очень просто... Только там чайка была,

Микель...

— Чайка?

Микель снял с него пропитавшуюся потом рубашку, вытер грудь концом простыни.

— Успокойся, — сказал он. — Сделанного не воротишь.

Он хотел было закрыть окно, но увидел внизу, рядом с хлебом, девушку, махавшую ему рукой. «Сейчас он спустится, Бегонья», — крикнул он и приказал брату:

— Быстро под душ. Слышишь? Пойдешь гулять с Бегоньей. Куда хочешь. Как обычно. Понял? Будто ничего не случилось. Чтобы ни у кого не возникло подозрений.

Он помог брату подняться, подтолкнул его к ванной.

— И не вздумай брать мотоцикл. Понятно? Потом все обсудим.

*Мать всегда говорила, нельзя идти по жизни, не страшась гнева Господнего. Иначе пропадешь, добавляла она после недолгой, но многозначительной паузы, а я смотрел на ее тогда еще молодое лицо, на лоб, стянутый белым платком, который она всегда повязывала, когда принималась за те-*

сто,— какой душистый хлеб у нее получался! — а концы платка она завязывала узлом на затылке. Она говорит, не переставая месить тесто, время от времени посыпая его легкой, пушистой мукой, невесомой, как первый снег у нас, снег, на который изумленно взирают телята с розоватыми влажными мордами. Говорит она это и не глядит на меня, наверное, чтобы не видеть скучающего выражения на моем лице,— я в такие минуты цепенел как замороженная лягушка, боялся, что она прочтет мои мысли: «Ну вот, опять свою пластинку про Бога завела». Локтями я упираюсь в стол, думаю о чем-то своем, уткнувшись взглядом в потолок,— чаще всего мечтаю о судьбе настоящего героя, героя из плоти и крови, не о каком-нибудь там детском кумире Капитане Труено\*, мне ведь уже пятнадцать исполнилось, я дружу с самим Зином, и у меня всякие дела с женой сторожа Попейе, которая мне в бабушки годится.

«Как же они все-таки выглядят, эти настоящие, невыдуманные герои из плоти и крови?» — думаю я, и перед глазами у меня снимки из последних газет — дымятся развалины южного блока электростанции, под который подложили больше трех килограммов взрывчатки, вся округа разом погрузилась в темноту, целых два с половиной часа в полной темноте сидели, вот это было дело. Дело рук настоящих героев. И я все вздыхал и завидовал им, как последний идиот.

Я вспоминал те давние времена, утонув на заднем сиденье старого черного «сеата». Гайола навалилась на меня всем телом, прижимая к дверце, я ощущал ее буйную плоть под темной юбкой, не прикрывающей колен, и был во всеоружии, ко всему готов — и как мужчина, и как боец, потому что мы направлялись на задание, хотя никто из нас не знал, куда едем и что будем делать. Никто, кроме Усатого, сидевшего прямо передо мной рядом с Бургете. Когда тот садился за руль, то гнал вовсю, в него словно бес вселялся. Я смотрел на профиль Усатого — вылитый наемный убийца из фильма,— на его сизую после бритья щеку, на длинные присыпанные сединой бачки, на вздыбившиеся злодейские усы под Панчо Вилью, на торчавший из самого кончика брови жесткий, закрученный спиралью блестящий волос. Ему бы бубен в руки да обезьянку на плечо — вылитый цыган, подумал я.

\* Герой популярных в 50-е годы комиксов, испанский вариант супермена.

Сидевший по другую сторону от Гайолы Зин с горечью сетовал: «Как жаль, что нам приходится заниматься всем этим,— ведь Господь нам подарил такую прекрасную землю». Как раз эти слова и напомнили мне рассуждения матери. И тогда я принялся раздумывать, с кем он, Бог, с нами, террористами, или же по-прежнему помогает на кухне матери месить, переворачивать и шлепать о стол кусок теста, который почему-то вызвал у меня мысль о «резине» — заряде взрывчатки, с помощью которой мы в пух и прах разносим проклятых центристов\*.

А насчет земли нашей Зин прав. Верно, замечательная земля нам досталась. «Сеат» ввинчивался в нескончаемые сосновые чащи, мчался вдоль зеленого моря лугов, по полям, залитым солнцем, жарким солнцем, которое золотило вековые камни крестьянских усадеб — касериос, усыпляло опьяненных горячей кровью оводов на скотине.

Шоссе между тем пересекало полувымершее селение и петляло по его улочкам («Черт бы побрал эти дорожные знаки,— ворчал Бургете,— в них совсем запутаешься»), потом устремлялось к зеленым волнистым холмам, врезалось в квадраты виноградников и, наконец, скользило вниз серпантинном, пока со склона горы, как бы привстав на цыпочки, мы не увидели вдалеке Бискайский залив. «Будем брать банк»,— прохрипел Усатый на переднем сиденье. И тут же приказал приготовить капюшоны. Мой лежал под плащом из черного полиэтилена. Гайола стала жаловаться, что ей жарко, душно, не по себе. Она повернулась ко мне. Ее глаза озорного мальчишки так и впились в меня из-под низких кудряшек на смуглом лбу, то ли с насмешкой, то ли с вызовом.

— Ну что, в штаны наделал?

В ответ я лишь пожирал глазами ее ноги. Тогда она вдруг схватила мою руку и сунула ее за вырез кофточки.

— Может случиться, нам все внутренности пулями продырявят,— сказала она, быстро показав мне язык и тут же спрятав его обратно.— Так, по крайней мере, ты хоть сейчас удовольствие получишь, не слиняешь на небеса несолоно хлебавши.

Зин, вытаскивая пистолет, чертыхнулся и велел Гайоле

\* Так в Стране басков часто называют представителей центрального правительства в Мадриде.

*оставить меня в покое и не отвлекать от дела.*

*Бургете сказал, будто это дело решенное:*

*— Я остановлюсь на площади.*

*Но Усатый ответил, что нет, машину лучше поставить в самом начале улицы — она выводит прямо на шоссе; правда, тут одностороннее движение в противоположном направлении, но штраф в сто песет мы как-нибудь переживем.*

*— У нас всего пять минут. Ни минутой больше,— сказал он, повернувшись к нам вполоборота.*

*Мы сняли с пушек предохранители. Все, кроме Гайолы,— она положила свою «гармошку» — так она называла автомат — у ног, наполовину прикрыв сверху юбкой. Коснувшись носом моего заледенелого уха, она прошептала, что, когда все кончится, настанет наш час.*

*— Вся ночька будет наша, малыш.— Она подмигнула мне. «Ну и баба, все ей нипочем»,— подумал я.*

*И в этот момент машина резко затормозила.*

Шагая по скопищу нечистот, в которое превратился в последнее время город, он твердил про себя фразы, ставшие для него новым катехизисом. «История снова показала, что Давид, если он сумеет подобрать подходящую пращу, способен свалить Голиафа, то есть государство угнетателей. Современная борьба уже ничего общего не имеет с войной на фронтах, с классической военной стратегией. В наши дни целая армия может быть практически уничтожена или парализована малой группой бойцов Сопротивления, использующих методы Революционной войны — далее мы будем сокращенно обозначать ее РВ. Таким образом, главное — суметь правильно выбрать пращу: в этом весь вопрос».

Хосечу вошел в бар, где обычно перекусывал в полдень с товарищами по работе, и спросил пива.

— Но только очень холодного — другого не надо. («Не все фазы РВ связаны с кровопролитием или насильственными действиями».) Ты меня слышишь, Фермин?

— Слышу, слышу.

Фермин протянул ему крохотную канарскую сигарету, вделанную в пластмассовый мундштук, и с хитрецей улыбнулся.

— Ты только не подумай, что этим меня умаслишь,

понял? — сказал Хосечу. — Я просил очень холодного пива. Не просто холодного. Очень холодного. Почти ледяного.

Фермин налил пиво в стеклянную кружку, выждал, пока пена вспучилась, словно пышный крем на пирожном, затем стряхнул верхушку влажной лопаточкой из стакана на стойке.

— Холодное, как руки покойника, — сказал он и тут же принялся расспрашивать про Бегоньиту, верно ли, что он перестал с ней встречаться. — И вообще, парень, что это с тобой происходит, черт побери, таким занудой стал, а ведь прежде другой был, я же тебя еще вот таким знал. — Фермин был расположен поболтать, он шутил и смеялся, а Хосе с отрешенным видом смотрел на дом напротив, на его грязный фасад в стиле барокко, на вытянувшиеся в ряд балконы, под полуразрушенным аляповатым, покрытым темными пятнами фронтоном, на вычурный портал с фонарем из граненого стекла, на синюю вывеску над входом: «Дом Гонсалесов, основан в 1943 году». — Последние новости слышал?

Хосечу настороженно ожидал продолжения, не отрывая взгляд от полицейского, который расхаживал по тротуару перед домом. Он почувствовал, как глоток холодного пива обжег ему пищевод, заставил поперхнуться, что, впрочем, было очень кстати.

— Не слышал и слышать не хочу.

— «Джип» с жандармами подорвали.

— Туда им и дорога.

Расплатившись, он взял из висевшего рядом с дверью автомата пачку сигарет «Дукадос», помахал на прощание бармену левой рукой, правой толкнул дверь: «Привет, Фермин». Тот в ответ пожал плечами, словно хотел сказать: ну, как знаешь, каждый волен иметь свое мнение.

В лифте он еще раз повторил короткую речь, с которой собирался обратиться к сеньору Гонсалесу, мол, страдаю геморроем, а потому решил заняться вплотную лечением вместо того, чтобы просиживать по восемь часов в конторе. Все это Хосечу изложил шефу, войдя в его кабинет, и закончил речь следующим образом:

— Так что дайте мне расчет, и все дела.

— А мать в курсе?

— Не имеет значения.

— Для тебя не имеет. А я был другом твоего отца, да упокоит Бог его душу. И ты поступил сюда работать...

— По протекции. Знаю, сеньор Гонсалес. Но у меня геморрой, и я решил от вас уйти. Вы же не станете отрицать, что эта причина не менее важна, чем ваша протекция. Или вы и вправду такой идиот, каким с виду кажетесь?

«Напрасно я этот разговор затеял,— сожалел он минут пятнадцать спустя, входя в лифт.— Микель, тот наверняка отвесит мне оплеуху, а ведь ручища у него, как у боксера-тяжеловеса, ну а мать, бедняжка, всю оставшуюся жизнь будет читать по мне заупокойную молитву, перемежая ее сотнями тысяч причитаний, может даже, свечку во спасение моей души в церкви поставит — во спасение души заблудшего обожаемого ею сыночка Хосечу».

Впрочем, эти соображения его не особенно волновали — главное беспокойство было связано с мыслью о Пападоке. Как-то он отнесется к его дурацкой выходке в конторе? Пападок всегда в курсе всех дел. Он знает даже то, что лишь должно произойти.

— Мне не всегда удается с собой справляться,— признался ему Хосечу накануне вечером.

— Будь любезен, научись сдерживать свои порывы. Тебе надо только попросить расчет и попрощаться. Ты мне здесь нужен. Но чтобы никаких скандалов.

В крохотной комнате, где умещался лишь письменный стол с телефоном, Пападок держал бухгалтерские книги нескольких фирм, на которые он работал по договорам. Счетные книги были самые что ни на есть настоящие — в случае чего они могли удостоверить, что их хозяин честно зарабатывает на жизнь, хотя доходы его и весьма скромные. Зато от телефонного аппарата Пападока постоянно просто дым валил. Звонки из Биаррица, Мадрида, Рима, Байоны, иногда из Парижа, не говоря уже о городках в Испании и Франции, где говорят по-баскски. Хозяин комнатки не знал, что такое усталость. Не страдал от клаустрофобии. Казалось, у него сто пар ушей и глаз больше, чем у мифического Аргуса. Крайне подозрительный и очень осторожный, он мог быть невероятно жестоким, хотя бесчувственным его ни в коем случае назвать было нельзя. Если он мог избежать кровопролития, то старался это сделать. Но и не

останавливался ни перед какими жертвами, если того требовала Революционная война. «Чтобы удержать власть, надо уметь притягивать к себе людей, поражать их воображение», — сказал он при первом разговоре с Хосечу, вскоре после того как тот застрелил полковника Санромана. И Пападок в полной мере обладал этими качествами. Многое притягивало и поражало в этом крепко сколоченном человеке лет сорока, в его диковатом, хищном лице с орлиным профилем. Была в его облике какая-то странная смесь мистического и чувственного начал, которые попеременно сквозили то в глазах, то в улыбке. Он казался очень сильным физически. Хосечу убедился в этом позже, когда ему привелось видеть, как Пападок, узнав, что убили одного из его людей, рукой раздавил банку кока-колы. Был он холост. Когда ему хотелось побыть с женщиной — что случалось, впрочем, нечасто, — он звонил по телефону, а спустя минут десять в его каморку приходила молодая девушка, очевидно, служанка из богатого дома: вышколенная, с хорошими манерами, чистая-чистая, как золото без примеси, с аккуратно собранными в пучок на затылке волосами, со свежим, будто только что умытым с мылом лицом. Не красавица и не дурнушка. Здоровая. Спустя некоторое время она уходила как пришла, не разжав губ, не унося ни песеты.

— Ты считаешь, ей можно доверять? — спросил как-то Хосечу.

— Нет человека, которому можно было бы доверять. Нельзя доверять даже самому себе.

— Я это и имел в виду.

— И ты совершенно прав.

Иногда манерой говорить он напоминал священника. Может, потому, что часто цитировал Библию. И в такие моменты было заметно, что библейская фраза вырвалась у него произвольно и что он досадовал на допущенную оплошность. Такое, правда, продолжалось недолго, мускулы на его лице как бы мгновенно застывали — только это его выдавало.

Все в Пападоке сбивало с толку. Порою он походил на профессионального наемника, прошедшего выучку в Ираке или еще бог знает где. Он весь был исполосован шрамами — судя по всему, и душа его была в шрамах. Известно было, что ему удалось бежать из тюрьмы вместе с еще семью

членами ЭТА.

— Говорят, ты побег организовал.

— Нет, Хосечу, это Господь наш небесный сделал, — то ли в шутку, то ли всерьез отвечал он.

Сигареты и кофе. Никакого алкоголя. Лишь один раз Хосечу увидел Пападока слегка под хмельком — когда удалось вызволить из беды боевика одной из подчиненных ему групп. Это была целиком заслуга Пападока. Парня ранили в ногу, окружили, но Пападок отбил его, забросав полицейских гранатами. Потом остановил машину «скорой помощи» и заставил подобрать раненого, убедив санитаря, что пострадал прохожий, не по своей воле попавший в переделку. Когда машина отъехала подальше, Пападок приказал санитарю связать шофера, а потом сам связал санитаря.

Говорят, что никому не известно, кто он такой. Что у него нет друзей. Все это похоже на правду. Предложения своих людей он выслушивает сидя за столом, роясь в каких-то своих записях, наклоня при этом голову так низко, что кажется, вот-вот коснется лбом поверхности стола, потом почесывает в затылке, смотрит на дымок сигареты, которую только что прикурил от предыдущего окурка, глубоко затягивается и принимает решение. «Поступим так», — говорит он. Или: «Ничего предпринимать не будем. Подождем, пока они немного расслабятся. Лучше эту операцию проведем по-другому. Надо изменить тактику». Он встает, кивает головой, и всем становится понятно, что делать дальше: сомнений в принятом им решении и быть не может.

— Буду держать вас в курсе. Привет.

Сказав «привет», он обязательно берется за веник, тщательно подметает мусор, оставленный гостями. Это у него вроде рефлекса.

— Ты обратил внимание, Микель?

— На что?

— Когда он берется за веник, то особенно сильно напоминает священника. Или монаха. Неужели не заметил? Не человек, а воплощенное смирение.

— У тебя воображение разыгралось.

После скандала, устроенного в конторе, Хосечу с удовольствием пропустил бы рюмочку-другую, но подходящей компании, с которой можно было бы покуражиться после выпивки, не было, и он зашел в первую попавшуюся забега-

ловку. Увидев там какую-то девушку, он вспомнил Бегонью и внезапно почувствовал, что его заливают сладкая волна нежности. Может, все-таки встретиться с ней?

Хосечу остановил такси и назвал шоферу адрес школы, где работала его бывшая невеста. В зеркале он увидел холодные глаза таксиста, услышал его голос:

— Еще двоих убили.

— Что вы говорите?

— Двоих из ЭТА. Говорят, тех самых, что утром подорвали «джип» с жандармами.

— Остановите здесь.

— Прямо здесь?

— Да. Вот на этом углу.

В часы, свободные от службы, полицейские иногда подрабатывали за рулем. Хосечу знал об этом. Знал он и о том, что полицейские, как правило, коротко и гладко подстригают затылки. У шофера, который попался ему, затылок был подстрижен именно так.

*Кто через такое не прошел, этого не поймет. Каково это — жить все время озираясь или забившись в логово, как Пападок. Для меня это невозможно. Я устроен как-то иначе, чем они, не способен делать вид, что мне безразлична кровь, которую проливаю. Да, конечно, родина басков, наша культура — все это так. Но цена в борьбе слишком высока. Мы все постепенно превращаемся в живые трупы.*

*Пишешь зажигательные листовки, слепо выполняешь любой приказ, часто действуешь по телефонному звонку — в такой-то день, в такой-то час, — не зная, на что идешь, что разрушишь по чужой воле, да еще живи один как сыч, разжигай в себе ненависть. И постоянно, днем и ночью, притворяйся, ибо никто, кроме тебя, не знает, что твоя душа обагрена кровью, а на плечах невидимая пурпурная мантия — ведомый лишь тебе знак твоей причастности к Смерти.*

*Ночью, взаперти в своей комнате, ты становишься самим собой. Жалким и потерянном. Но снова наступает день, и при его ярком свете, среди товарищей по боевой группе ты опять превращаешься в подобие беса. Или в сумасшедшего фигляра. Ибо ты обязан оплевывать буржуйское искусство, хотя рад бы быть последним слугой Микеланджело,*

шлепанцем с ноги великого Гойи. Ты обязан считать, что если кто-то каждую ночь зажигает звезды на небе, то это всемогущее божество есть не кто иной, как Маркс. Тебе не нужно спрашивать собственную совесть, размышлять. На все уже дан ответ. Непререкаемый. Убедительный. Жесткий, как удар кулаком по виску. Только революция способна все решить. Каковы средства — это неважно. «Переговоры могут к чему-то привести, только если кругом не умолкает стрельба». Так сказал Блас или Гойтири, и точка.

Так ты превращаешься в настоящего цепного пса. В полного циника. И если ржа сомнения вдруг начинает разъедать твой разум, ее следует устранить спасительной мазью скепсиса. Все отрицать: с блеском, неопровержимо, хладнокровно. Никакие доводы не должны на тебя действовать. Идти не оглядываясь. Все разрушить на своем пути, чтобы в конце концов приплыть к пустынному берегу отчаяния на корабле, битком набитом сумасшедшими матросами. Цинизм и нигилизм. И революция. Ну разве это не мерзость?

Живые зывают к живым. Надо просто понять эту истину, и больше ничего. Остальное не имеет значения. А если и имеет, то несущественное.

— Он доказал, что не робкого десятка.

— Или свою полную безрассудность.

Микель стоял на своем:

— Хосечу неведом страх. Я-то хорошо его знаю.

Но ведь и Ренко не ведал страха. В деле ему не было равных, а в случае чего мог и приговор привести в исполнение. Не моргнув глазом. И все же в самый решительный момент нервы у него сдали. Пападок снова увидел бисеринки пота, выступившие на лбу Ренко, тот весь взмок, когда в день побега они добрались до выхода из туннеля. Бисеринки были крупные, тяжелые, словно капли ртути. Волосы, лицо Ренко прямо-таки взмокли от пота — не голова, а губка, выжатая невидимыми пальцами ужаса. «Уголовники говорят, что там стоят пулеметы,— хныкал он.— Разве тебе не ясно, что они просто хотят расправиться с нами? Нарочно позволили нам сбежать, чтобы прикончить у выхода при попытке к бегству. Они убьют нас, Пападок!» Пот заливал Ренко глаза. Он отказывался выйти наружу, просил товарищей пристрелить его: «Прошу вас, прикончите меня сразу,

тут же!» В штаны до самых краев наложил, а потом, когда его потащили к выходу, стал дико вопить. Пападок заставил его замолчать, ударив ребром ладони по затылку. В тот раз с Ренко вроде все обошлось, но спустя несколько месяцев он предал их, и все из-за того же страха.

— А как у него с девушкой?

— С Бегоньей? Не знаю. Думаю, ей придется смириться. Мало ли помолвок расстраивается.

— Я не о ней говорю. Я говорю о твоём брате. Он очень опасен. Ты же понимаешь, при его характере, раз уж так дела повернулись, Хосечу опасен, как динамитный заряд.

— Да, конечно.

Пападок спросил, был ли его брат близок с девушкой.

Микель пожал плечами:

— По-моему, Бегонья не из того теста. Она с характером. И строгих правил.

— А не начнет он ее разыскивать, снова встречаться?

— Трудно сказать.

— Ладно. Подержу его какое-то время при себе.

Пападок подверг Хосечу настоящему психоанализу. Во-первых, Пападок поинтересовался, почему Хосечу застрелил полковника.

— Только таким образом я смог бы вступить в Организацию.

Во-вторых, почему он выбрал именно Санромана, а не кого-нибудь другого.

— Случайно узнал, что вы решили казнить его.

— Как?

Узнал он об этом у себя дома. Было это еще в июле. Микель забыл плотно притворить дверь в свою комнату, уверенный, что остался один на один с Усатым. А Хосечу, возвратившийся на рассвете, слышал весь их разговор. Хотя в ту ночь было жарко, его от волнения озноб пробрал. Он был поражен. Оказалось, что его брат, которого он чуть ли не презирал за равнодушие к борьбе за свободу Родины (под борьбой Хосечу тогда понимал малевание лозунгов на стенах, участие в демонстрациях, водружение на самом неожиданном и труднодоступном месте баскского флага-икурриньи), его брат Микель оказался настоящим героем, героем из плоти и крови.

В-третьих, Пападок спросил, что Хосечу знает об истории их Родины.

— Очень мало.

— Но хотелось бы узнать побольше?

— Ну, самое главное-то я знаю. А без остального пока могу обойтись.

— Но ты хочешь узнать побольше?

— Если ты мне сам расскажешь — да. Ты это умеешь.

И последнее: представляет ли он, какая жизнь ожидает его в рядах Организации? «Боевик должен всегда находиться в состоянии полной готовности. В любое время дня и ночи».

— Знаю. Готов к этому. Я хочу участвовать в борьбе.

— Тебе придется отказаться от всего — от семьи, от всех привязанностей, от личной жизни. Ну как если бы ты умер для всего, кроме нашего дела.

Он молча кивнул.

— Ты не боишься опасности?

— Я люблю опасность.

— Ты смотрел в глаза Санроману?

— Я убил его, глядя ему в лицо.

— Никогда не надо смотреть им в глаза. Никогда. Заруби себе это на носу.

За время, пока Пападок держал Хосечу при себе, он понял, что привязывается к юноше. Ему захотелось собственными глазами увидеть, как тот поведет себя в первом деле, и он сам заявился в филиал банка, переодевшись священником. Ровно в половине двенадцатого он услышал, как на улице затормозила машина. «Бургете точен как всегда», — подумал Пападок, рассеянно разглядывая потолок через тщательно протертые — ни пылинки! — стекла очков, обращенные горé глаза в кругах оправы придавали ему вид серафима. Первыми со словами «Всем стоять на местах!» в банк ворвались Гайола и Усатый. «Ничего себе парочка», — подумал он, еле сдерживая смех и поглаживая лежавший в глубоком кармане сутаны «парабеллум». Ну и видик у Гайолы: на свитере, облежавшем грудь, — шелуха от семечек, темная короткая юбка, сапоги, а в руках автомат. «Всем сохранять спокойствие, ну, ну, не нервничать, повернитесь лицом к стенке и поднимите руки, не шевелиться». А рядом Усатый сует полотняную сумку кассиру: «Эй ты, наполняй, быстро!» Живот у него свисает над ремнем. «Словно Панчо Вилья в ки-

но», — подумал Пападок, улыбнувшись в ответ на быстрый взгляд Гайолы, которая его не узнала: «Ну-ка, святой отец, стойте спокойненько и молитесь — это вам по сану положено».

— Как раз я этим и занимаюсь, дочь моя.

И снова голос Гайолы:

— А ты, дружок, не спускай глаз вот с этих, что справа. Держи их на мушке и жми на курок, если вздумают двинуться.

Это она сказала Хосечу. Лицо у того было спокойное и сосредоточенное, воротник плаща поднят, тугие кольца волос свисают на лоб. Расставив ноги, он в правой руке держал пушку, слегка упирая локоть в правое бедро. Пападок — на голове у него накладная лысина, чтобы не узнали свои, — пристально посмотрел в глаза Хосечу: во взоре, обращенном к заблудшему сыну, — мягкий укор, приведший в смятение новичка, впервые участвующего в вооруженном ограблении. «Все-таки он отвлекается, недостаточно собран», — подумал Пападок, взглядом приковывая Хосечу к месту. А Гайола, от которой ничего не ускользало, сказала: «Святой отец, или вы повернетесь лицом к стенке, или я вынуждена буду вас застрелить при всем уважении к вашей сутане».

— Прости меня, дочь моя.

— Прощаю. На первый раз отпускаю вам ваш грех. Но лучше послушайте меня и не искушайте судьбу.

Позже Гайола, рассказывая об этом Пападоку, вся тряслась от смеха, у нее дрожали плечи, живот, пышная грудь, складки на шее, сережки из потемневшего серебра — только глаза не смеялись. «Ну и страху натерпелся батюшка, ты бы только видел, Пападок, какая у него была дурацкая морда».

И тут Хосечу вдруг неожиданно и зло сказал:

— Чего ты мелешь. Вовсе не дурацкая.

— Почему ты так считаешь? — спросил Пападок.

— Глаза. Что-то было в них... Нет, совсем не дурацкое.

— Глаза, говоришь?

— Да. Он на меня так глянул, что я до сих пор забыть не могу.

— И долго он на тебя смотрел?

— Слишком долго.

— Значит, ты отвлекся от дела.

Пападок решил послать Хосечу на некоторое время в Байонну. Или, может быть, в Арденны\* — так будет лучше. Но в тот день он ничего ему об этом не сказал.

*И вовсе Гайола не шальная. Такой она только кажется. Меня она раскусила сразу. Словно я для нее прозрачный — вижу я тебя, вижу насквозь, малыш, как на рентгене, ты слишком во все вникаешь, чересчур много думаешь, а это в нашем деле ни к чему.*

*Она принесла кулечек с семечками.*

— Помнишь, какой-то святой отдал нищему единственное свое одеяние? А я вот, малыш, на эти семечки потратила свои последние деньги. Так что, того и гляди, попаду в святые.

*Ей запретили запереть изнутри дверь, к тому же Усатый снова приковал один наручник к железной раме кровати, и она впала в истерику: «Сволочи, сволочи вы все, обращаетесь с людьми как настоящие палачи! Совести у вас нет!»*

*Я попытался утихомирить ее: «Оставь их в покое, мне все равно, главное, что я так читать могу».*

*Неукротимая Гайолита совсем пала духом. Она прямо рассыпалась на глазах, как неумело сложенная груда камней, — вот один сдвинулся, покатился, а за ним другой, третий, и все посыпались.*

— Не могу тебя видеть в наручниках.

— Ну ладно. Я их спрячу, чтобы ты не видела.

*А она плачет: «Я всего этого видеть не могу, Хосечу, любовь моя, можно я тебя так буду называть — ты ведь раньше не хотел этого, но я не могу удержаться... А может, ничего с тобой плохого не будет?»*

— Конечно. Что со мной может случиться?

— Вот и я говорю. Что ты там читаешь, скажи?

— Библию.

— Не издевайся надо мной, Хосечу. Ты что, помирать собрался? Господи боже мой... Извини меня, Хосечу, что я такое мелю, дура.

*Я развязываю мешочек и протягиваю ей семечки, но она мотает головой, отворачивается: «Наверное, первый раз*

\* В Арденнах, на территории, принадлежащей Франции и Бельгии, боевики ЭТА создали свои тренировочные базы.

в жизни я от них отказываюсь, клянусь тебе, любовь моя, но, понимаешь, не могу их в рот взять, у меня там все пересохло, слюна густая, горькая». Я положил ей руку на бедро, она очень любит, когда я так делаю, а она схватила мою голову и, словно умирая от жажды, поцеловала в губы долгим поцелуем.

— А теперь прощай.

— Нет, никаких «прощай», — говорит она, мотая головой, и кудри ее трясутся как в безумной лихорадке, — нет, Хосечу, никогда не говори мне этого слова. До свиданья.

И я остаюсь один с мешочком семечек. И снова вспоминаю обнаженное тело Гайолы — я впервые увидел ее обнаженной в тот день, когда мы ограбили банк. Все тогда прошло гладко. Усатый взял из рук кассира сумку — миллион с лишним песет мы тогда отхватили. «Куш что надо!» — так цыган сказал потом Пападоку. Я выскочил на улицу посмотреть, что там происходит, а Гайолита осталась стоять посреди зала с автоматом в руках, от этой игрушки она прямо балдеет, потом мы услышали условный свист Бургете. Десять минут спустя мы уже пересаживались в другую машину.

Нас оставили вдвоем с Гайолитой в квартире, которую снимала наша боевая группа. Меня прямо распирало от гордости, я весь надувался от нелепого тщеславия, павлином прохаживаясь среди аккуратно уложенных друг на друга ящичков с боеприпасами, куч обрезов, стопок свежевыкрашенных автомобильных номеров, чувствуя себя героем рядом со всеми этими орудиями, несущими смерть, — детонаторами, винтовками СЕТМЕ, пистолетами, пачками фальшивых паспортов в ящичке для обуви, мотками бикфордова шнура, кусками взрывчатки, завернутыми в грубую крафт-бумагу. А в спальне, обнаженная, словно на гравюре под старину из тех, что имеют обыкновение вешать в борделях, разлеглась Гайолита. Она напоминала сочный зрелый плод. Помню, я ей тогда сказал какую-то пошлость — вроде «не сбежала ли ты с какого-нибудь полотна Рембрандта?».

— Ни с какого полотна я не сбежала, а сбежала я из дома. Надоело Мариоле всех слушаться, словно она дурочка. Мариола — туда, Мариола — сюда. Меня ведь на самом деле Мариолой зовут. Но когда была маленькой и мне задавали обычный дурацкий вопрос: «Как тебя, девочка, зовут?» —

я говорила, что Гайолой. Вот так Гайолой и осталась. История ее самая что ни на есть обычная. Работа в магазине, потом первый стремительный роман с Себасом — он погиб в стычке с жандармами,— за этим взрыв отчаяния, Гайолита по-настоящему любила этого парня, впрочем, думаю, она и до сих пор его любит, наконец, энергичный натиск на Санчо Парру, ближайшего друга Себаса: «Ты знаешь, кто верховодит в Организации, если ты меня с ним не сведешь, я вас всех полиции заложу». Вот так она и вышла на Пападока.

Это она раскрыла мне глаза. «Терроризм — не просто разлетевшийся на куски жандармский «джип», увешанный клочьями человеческого мяса и перепачканный кровью,— объяснила она мне после того, как мы в первый раз легли в постель.— Терроризм — это наркотик, но не только. Это еще и знамение. Послание, исполненное особого смысла. «Эй вы, люди, слушайте,— кричишь ты,— мы здесь!» Ты подкладываешь одну бомбу, а она взрывается во всех домах, поражает всех людей. Город превращается в настоящий вулкан. А вернее, в пороховой погреб, бикфордов шнур, который запалили с одного конца. Тут уж никто не сможет сказать, что ему плевать на политику. Ни в коем случае, Хосечу! Эти трюки уже не проходят. Жалкие слова, что я, мол, ни во что вмешиваться не желаю, я сам по себе, мое дело сторона, а другие пусть делают что хотят,— все эти слова теряют смысл, когда начинается террор. Это как пружина, которая сжимается все туже и туже. Или вроде снежного кома, который, катясь под гору, становится все больше и больше».

Говорила она мне это, лежа рядом в постели, совсем нагая, сплевывая шелуху от семечек,— кожурки летали в воздухе, как ночные бабочки, безжизненно падали на ее пышную грудь, на живот, на покрытый шелковистыми волосами низ живота.

«Глубинный смысл терроризма не столько в том, что он несет смерть, убивает, сколько в том, что он сеет страх. Остальное берут на себя газеты и журналы. Они нам подыгрывают. Не отдавая себе отчета в этом, разумеется».

— Ты уверена, что они не отдают себе отчета в этом?

— Ну, может быть, и отдают. Да какая разница? Ты вот на что обрати внимание. Перед тобой — фотографии, снятые

после очередного террористического акта. Чем они страшнее, тем лучше нам служат. Кровь, оторванные конечности, завалившаяся под машину рука — все это, все эти картины — самая лучшая для нас пропаганда. Это и есть, я бы сказала, терроризм в самом чистом виде.

— Запугивание всех и вся?

Тогда-то она впервые мне сказала: «Ты слишком много думаешь, Хосечу, во все вникаешь, а это ни к чему в нашем деле. Кончится все тем, что тебя загонят в угол либо наши, либо те». Мне показалось, что все кругом помрачнело, когда Гайола произнесла эти вещице слова. Но к ней уже вернулась обычная беззаботность, она снова весела и жизнерадостна, как всегда. Выпрыгнув из кровати, потащила меня в ванную. «Нет, под холодный душ ни за что!» — кричал я, поняв, что она надумала. А она отвечала: «Не бойся, дурачок, идем, идем, увидишь, как нам хорошо будет». И силком потащила меня за собой. Я орал под ледяным душем и рвался назад, но Гайола удержала меня — она очень сильная, — потом стала ласкать, никакая другая женщина такого бы не придумала, а я все кричал, что она с ума сошла, что помрем от холода, а она отвечала, что умереть вместе было бы прекрасно.

Мы жарко любили друг друга под ледяным душем.

Бегонья приходила к нему каждую ночь. Садилась на край постели, словно живое изваяние, и, не говоря ни слова, смотрела на него. Иногда, правда, он слышал ее голос, сладкие стоны в темноте, наполненной негромким стрекотаньем кузнечиков; или шепот в машине: «Нет, Хосечу, мы же договаривались, пожалуйста, все что хочешь, но только не это, прошу тебя, не надо». Он чувствовал, как в его руке дрожит ее вспотевшая от напряжения тонкая рука, когда они смотрят у нее телевизор, сзади прерывисто и тревожно дышит ее больная астмой мать, и полутемная гостиная заполнена тревогой и настороженностью.

Хосечу, напрягшись до предела, изнемогая от желания, подсознательно старался, чтобы сон не кончался, продолжался бы как можно дольше.

Потом он беспокойно метался, что-то невнятно бормотал.

— Хосечу, любовь моя, проснись! Тебя опять душат кошмары.

Гайолита поглаживала его грудь, живот, а он, очнувшись

от этой расслабляющей ласки, через некоторое время растворялся в животном тепле Гайолиты, неистово и отчаянно погружался в него, позабыв обо всем, словно пытался попить там, на дне, свое отчаяние, а она жадно принимала его ласки — жадно и в то же время печально, потому что понимала: в эти минуты он обладал не ею, а другой женщиной, ставшей наваждением, мечтой, от которой не мог избавиться. Потом Хосечу возвращал к действительности ее невнятный голос, который в этот момент вызывал у него скрытое отвращение, словно он переел семечек. «До чего же мне хорошо с тобой, малыш», — говорила она, а ему неудержимо хотелось плакать.

Широко открыв глаза, он всматривался в тьму, царившую в комнате, чувствовал, как, щекоча скулу, скатывается слезинка и тут же испаряется на горячей, словно в лихорадке, коже. И тогда Бегонья снова представала перед ним. Снова он видел Бегонью, как в то августовское утро — в светлой блузе, в юбке колоколом; видел черные тесемки мягких туфель-альпаргат, перекрещивающиеся на икрах; позолоченные загаром руки, тонкое, чисто баскское лицо, внимательный взгляд зеленых глаз.

— Поедем на машине, — сказал он тогда.

А она: — Лучше на мотоцикле, Хосечу. В машине мы изжаримся. К тому же трудно будет припарковаться — туристов тьма-тьмущая.

— Никаких мотоциклов, понятно тебе?!

— Что ты кричишь?

— Хочу — и кричу.

Так они разговаривали, а Микель смотрел на них из окна. Он стоял недвижно, все еще держа в руках ветошь, которой обтирал до этого пальцы, лицо у него было скорбное и укоряющее, только что он сказал Хосечу: «Веди себя так, будто ничего и не случилось. Чтобы ни у кого не возникло подозрений».

Из окошка автомобиля виднелось по-детски безобидное и ласковое летнее море. Хосечу искал взглядом чайку в синем раскаленном солнцем небе, но не нашел ее.

Бегонья, усевшись за руль, обиженно спросила:

— И куда сеньор желает поехать?

Разъяренный Хосечу пригвоздил ее взглядом к сиденью:

— Не лезь со своими шутками, и без тебя тошно!

— Прости, сынок...

Он нарочно вел себя так жестоко, в то утро он твердо решил порвать с Бегоньитой, потому что не мог позволить себе втягивать ее в свою новую жизнь — ей там не было места.

— Ты мне надоела.

Она посмотрела на него, с трудом сдерживая слезы.

— Ну что я тебе сделала? Что случилось? Говори.

— Мне нечего тебе сказать.

— Знаешь что? Возвращусь-ка я лучше домой.

— Еще успеешь вернуться к своей святоше-мамаше.

На этом и покончим. Так будет лучше.

Руки ее, лежавшие на руле, еле заметно дрожали. «Тебе просто не терпится переспать со мной, — думала она. — Но ты своего не добьешься».

Они вскоре натолкнулись на оцепление. «Что-то произошло», — сказала она, переключаясь на вторую скорость.

Поперек шоссе, блокируя проезд, замерла патрульная машина, рядом с нею стояли два жандарма с автоматами наизготове. Оба нервничали, и особенно заметно тот, который подошел к ним.

— Куда направляетесь?

Хосечу поспешил ответить:

— На Пасео Маритимо. Хотим пивка попить.

— Здесь вы на набережную не проедете. Езжайте кругом.

Дальше вам покажут, как проехать.

— Что-нибудь случилось?

Жандарм махнул им автоматом, чтобы проезжали, не задерживались. И они погрузились в лабиринт узких улочек, там тоже царил паника, испуганные женщины тащили домой детишек. «Видимо, еще кого-то прикончили, — сказала Бегоньита и, не дождавшись ответа, добавила: — Живем в аду каком-то».

— Это «они» нашу жизнь в ад превратили.

— И те и другие, Хосечу, общими усилиями.

На каждом углу стояли жандармы. Солнце сверкало на их покрытых лаком треуголках\*.

— Лучше бы нам вернуться, — сказала она.

— Езжай дальше. Проедем с другой стороны.

За старой частью города центральные улицы кишмя ки-

\* Традиционный головной убор испанской жандармерии.

шли машинами с полицейскими и жандармами. Хосечу заметил, как на углу, прямо под светофором — он в тот момент светился зеленым светом — двое полицейских обыскивали старика, по виду нищего. «Нашли кого обыскивать,— мелькнуло у него в голове, и он не смог сдержать холодного и циничного смешка.— Надо же,— подумал он при этом,— наваждение какое-то — как всякого убийцу, меня неудержимо тянет на место преступления». Именно тогда он вспомнил чайку и чертыхнулся сквозь зубы: «Не хватало только, чтобы она меня признала».

Бегоньита спросила:

— Ты что-то сказал?

— Чтобы ты свернула направо.

— Я и так это собиралась сделать. Успокойся ты наконец.

Когда они уселись на террасе бара, официант шепнул на ухо Хосечу: — Ты в курсе?

— Нет. А что случилось?

— Еще одного прикончили.

— Где?

— Там,— показал он рукой,— в самом конце набережной Пасео Маритимо, отсюда даже можно разглядеть пятно крови, похоже, он хотел погреться на солнышке, многие это место выбирают.

Бегоньита, покусывая ногти, сказала: «Бог ты мой, когда же все это кончится!»

— А кто он, известно? — спросил Хосечу с равнодушным видом.

— Да. Я его тоже знал. Он иногда заходил сюда со всей семьей. Некий Санроман. Генерал или что-то в этом роде. Он сидел там, ждал внуков, собирался с ними искупаться. Они-то и наткнулись на труп. Можешь представить себе, что тут творилось. Старшего отвезли в больницу. Ему дурно стало — так на него это подействовало.

— И когда все это произошло?

— Ты не поверишь, сразу же после того, как ты ушел.

Бегоньита удивилась: «Разве ты здесь утром был?» Лучше бы ей промолчать, но было поздно: вопрос уже вырвался. Может, поэтому Хосечу так разозлился? Он стал что-то сбивчиво объяснять, но слова его звучали жалко. Они вовсе не договаривались вчера встретиться сегодня утром на Па-

сео Маритимо, в этом она была уверена... Бегоньита постаралась скомкать разговор, чтобы он не запутался совсем.

— Ты бы видела эту картинку, Бегонья,— говорил официант,— Хосечу едет на мотоцикле — как раз оттуда, где убили сеньора Санромана. Едет не очень быстро и по сторонам посматривает...

— Да я ее тут искал,— вставил Хосечу.

— ...а за ним, ты только послушай, летит здоровенная птица, чайка, что ли, пристала к нему, чертовка, прямо преследует его. Он на мотоцикле едет, а она за ним, того и гляди, в голову клюнет. Она ведь долго за тобой летела, верно?

Хосечу с трудом выдавил усмешку, подумав, что, должно быть, много народу видело, как его чайка преследует. А официант, продолжая смеяться, сказал:

— Ну ладно, чего не бывает. Могу предложить вам каракатицы. Свежайшие, только что выловили.

— Записываюсь,— сказал Зин, выросший вдруг за спиной Хосечу. Тот обернулся, удивившись его неожиданному появлению.

— Ты здесь? А я думал, что ты в Морском клубе.

— Как видишь, пришел к вам.

Хосечу и в голову не могло прийти, что Микель позвонил Зину в Морской клуб, срочно назначил ему встречу в какой-то забегаловке, попросил найти брата и не отходить от него ни на шаг. Зин спросил, в чем дело.

— Не задавай вопросов. Делай, как я сказал. Позже встретимся у Пападока. Я тебе позвоню.

— А что там с полковником?

— Понятия не имею. В любом случае это не наших рук дело.

— Они весь город вверх дном перевернут.

— Ты будь осторожней.

Теодоро Зин и Хосечу учились вместе в школе, знали друг друга с детства. Связывала их не просто дружба, а какое-то почти братское чувство, хотя в последнее время они почти не виделись, так как Зин вел весьма странное существование. Он много разъезжал, а когда появлялся в родном городе, жил барином, полностью устранившись от семейного дела, которым занимались отец и старший брат Иньяки, всегда бывший пай-мальчиком. Иньяки был

влюблен в Бегоньиту и предсказывал ей всякие несчастья, если она решится выйти замуж за Хосечу.

«У него же напрочь отсутствует всякое чувство ответственности,— сказал он ей при последнем разговоре, прощая из школы, где она работала.— Чистой воды сумасшедший, по нему смирительная рубашка плачет».

Бегоньита в ответ чуть не надавала ему пощечин, но сдержалась, сделав скидку на то, что Иньяки гложет ревность.

— К твоему сведению, пусть он и сумасшедший, но я ни на кого его не променяю, а на тебя тем более. Ясно?

— Все равно я буду тебя ждать.

— Так и состаришься не дождавшись.

— Кто знает. Тебя стоит подождать — ты совсем на современных девиц не похожа. Так что до скорого свидания.

Для Хосечу Иньяки был воплощением всего того, что он презирал. Он презирал занятие Иньяки, его пристрастие к порядку, рвение, с которым тот зарабатывал миллион за миллионом, равнодушие к судьбе Родины. Как-то под Новый год он при всех пригрозил ему: «Ты за все это когда-нибудь заплатишься, буржуйская свинья. Не забывай, Иньяки, Родина не прощает таким ренегатам, как ты». В ответ Иньяки лишь холодно и пренебрежительно поглядел на него, обнажив выпирающие зубы. «У тебя и улыбка как у шакала», — закричал Хосечу и бросился на него, но не смог до него дотянуться, настолько перепил уже.

«Интересно жизнь устроена», — думал Хосечу, дружески похлопывая по коленке Зина, который уселся с ним рядом и завязал шуточный разговор с Бегоньитой: «Ты, как всегда, прекрасно выглядишь, везет же некоторым». Если Иньяки был для Хосечу средоточием всего, что он презирал в человеке, то Зин, напротив, был как бы частью его жизни, с ним он делился самым сокровенным («И у тебя пушок вырастает, Зин?»), вместе переживал первый наплыв мистических чувств («Бог, наверное, сейчас за нами откуда-то следит»), доверял первые мужские тайны («Знаешь, что мне жена Попейе сказала?» — «Нет, скажи». — «Она говорит, что муж ее этого совсем почти не может, представляешь?»).

Как-то Хосечу спросил: «Скажи-ка мне, Зин, как это может быть, чтобы два брата были друг на друга так не похожи? Вы же совершенно разные».

— Должно быть, виной тому мои родители, они нас разными способами сделали.

— Как это разными — тебя через ухо, что ли?

— Ну и осел ты, Хосечу.

— Приглашаю вас обедать,— предложил вдруг Зин.— И советую поскорее принять мое приглашение, потому как я могу передумать. Хосечу мне и без того уже слишком дорого обходится. Ест он невпроворот, хотя совсем еще дитя.

«Да, как жизнь устроена,— продолжал думать про себя Хосечу.— Зин такой веселый, шутит без конца, не подозревает даже, какой страх у меня в душе. Ведь страх — вроде застрявшей в тебе пули, сначала ты ее не чувствуешь, но постепенно она разрушает тебя изнутри».

Он спросил Бегоньиту:

— А ты что скажешь? Пообедаем?

Но Бегоньита обиженно скривила личико и сказала, что нет, есть ей не хочется, а про себя добавила: «Какой он все-таки подонок, никогда не думала, что он такой».

— Я ухожу,— она подняла глаза и посмотрела ему прямо в лицо.— И ухожу немедленно, не удерживай меня.

— Даже каракатицы не попробуешь?

— Никаких каракатиц. Приятного вам аппетита.

Хосечу схватил ее за руку:

— Да подожди же ты!

— Пусти!

В этом «пусти» для Хосечу звучал другой, скрытый смысл: «Ну, умоляй же меня, унижайся, чурбан ты эдакий, пригни к моим альпаргатам — я ведь так хочу этого, ведь мне так нравилось, когда ты развязывал на них тесемки на пляже перед тем, как я собиралась войти в воду». А Зин все смеется, откинув голову, показывая белые зубы — даже небо его можно разглядеть,— он просто весь сияет от удовольствия: «До чего же вы смешные, ребята, черт вас подери, ну совсем еще дети». А Бегоньита, выскакивая и вырывая руку из рук Хосечу, кричит Зину: «Вот что я тебе скажу, Зин, я уже достаточно взрослая и не желаю с детишками возиться. Хватит мне с малолетками забавляться — радости от этого никакой».

И, обращаясь к Хосечу: «Пусти, скотина, ты мне больно делаешь!»

В этот момент и появился Иньяки. Он был в светлом летнем костюме, хлопчатобумажной голубой рубашке, как всегда тщательно причесанный, полностью владеющий собой.

— Тебе этот тип мешает, Бегонья?

— Да, мешает. Именно так.

Пальцы Хосечу ослабили хватку. Он даже не удостоил ее взглядом. Только глухо сказал, чтобы она убиралась подалее. «Не упускай момента, Хосе,— подумал он,— воспользуйся им. Брось ее — пусть она будет счастлива. Отрви ее от себя, черт возьми, найди в себе силы для этого». И в то же время слепое бешенство овладевало им, жаром опалило лицо, словно на него пахнуло из огнедышащей печи.

Весь дрожа от волнения, Хосечу встал, кулаки у него были сжаты, глаза закрыты — не хотели они видеть того, что сейчас произойдет. И он крикнул изо всех сил:

— Убирайся отсюда, шлюха! Тварь продажная!

Взяв под руку Бегоньиту, Иньяки увел ее, а Зин старался успокоить Хосечу: — Тише, парень. Спокойно. Увидишь, все уладится.

*Бог покинул меня. Но потом я понял, что когда человек пытается вознестись выше того, что ему по силам, стремится в гордыне своей подняться над человеческим в себе, преступает некий зыбкий и трудноуловимый предел,— а в случае со мной порог, отделяющий нас от зла и преступления,— подобное вознесение над всякими запретами в конце концов ведет к деградации личности или к безумию. Ты превращаешься в животное. В хищного зверя.*

*И однако бывает, что, даже попав в подобную ситуацию, человек все же вновь обретает Бога. Тогда ты осознаешь по-настоящему свою подлинную сущность, божественное начало в себе, которое было заглушено идеями, ничего общего с истиной не имеющими. Ложными идеями, которые, словно густой паутиной, постепенно обволакивают сердцевину человеческой души, где запечатлена сокровенная Истина.*

*И тогда я понял еще, что ни при каких обстоятельствах, ни под каким предлогом не смогу больше убивать людей, ибо гибель каждого есть разрушение части божественного*

*начала, заключенного в любом из нас. Тогда же я постиг, что если отчаяние мое будет столь велико, что я сам не смогу найти себе прощения, то я стану искать его в любви к Богу. Все остальное — несущественно.*

— Я убью его, Зин. Клянусь, я убью его.

— Кого? Иньяки? Стоит ли? Пусть умрет собственной смертью.

— Это же настоящая гадина. Всегда выползает, чтобы нажиться на чужой беде. И какая наглость при этом! Кто его просил вмешиваться в наши дела? Они его не касаются. Касаются только Бегоньи и меня.

— Но ты ведь бог знает что натворил. Оскорбил ее при людях, да еще таким унижительным образом. Ладно, пошли отсюда.

— Клянусь тебе, я убью его.

— Ну, не буду с тобой спорить, дружище. Только сначала пойдем поедим. Я плачú.

Как странно. Хосечу внезапно начисто забыл о полковнике Санромане. Его образ совершенно стерся из его памяти. А ведь и четырех часов не прошло, как он сказал: «Не желаете ли сфотографироваться, полковник?», направил на него пистолет и, не моргнув глазом, выстрелил, лишь Бога помянул: «Да простит нас Бог, полковник».

Сейчас он думал только о Бегонье. Мысль о ней жгла его душу. Словно ему в глотку залили кипящего масла, и оно заполнило ему грудь. Потерял я навсегда Бегоньиту, на этот раз я потерял ее совсем, это точно, а этот ублюдок Иньяки уводит ее под руку, словно она теперь его собственность, вот сволочь — убью его! — открывает дверцу своего шикарного «БМВ», причем жестом лакея — ну и свинья! — а сидящие за столиками люди смотрят на них, глядят на Хосечу, жалея его и в то же время презирая, потому что он потерял лицо на глазах у всех, не сумел сдержаться, вот буржуи поганые, им невдомек, что Хосечу потерял нечто гораздо большее. Жизнь свою я потерял, вот что, свою жизнь.

— Я не голоден.

— Тогда давай прогуляемся. Просто так, куда глаза глядят.

Когда они садились с Зином в его «тальбо», у Хосечу еще дрожали руки, хотя красная пелена, застлавшая глаза,

понемногу рассеивалась. Обернувшись, он увидел красноватое пятно, растекшееся на песке около набережной и слегка присыпанное опилками, всего метрах в двадцати от них.

— И какой сукин сын это сделал?

Хосечу пожал плечами.

— Мы в пропасть катимся,— продолжал Зин, искоса бросив взгляд на Хосечу.— Прямехонькой дорогой в ад! Этой кровавой кутерьме со стрельбой и бомбами конца не видать.— Зин пытался вызвать Хосечу на откровенность.— Не пойму никак, чего только добиваются эти, которые из ЭТА или еще откуда, мы ведь и сами точно не знаем, кто они. Им не удастся добиться своего. Это невозможно. Все козыри в руках их противников. А у кого все козыри — тот и выигрывает. Верно ведь?

— Бывает и так.

— Нет, Хосе, всегда так. У кого козырная карта — тот побеждает. А она у тех, кто заправляет в Мадриде. Можешь не сомневаться.

— А мне все равно. Я в эти игры не играю. Куда мы все-таки едем, можешь ты мне сказать?

— Да вот я подумал: не двинуть ли нам в таверну к Майте?

— Это мысль.

В таверне Хосечу на этот раз даже не пошутил с Глорией, дочкой хозяина. Будто совсем не замечал ее, хотя раньше они очень даже ладили друг с другом. Зин внимательно следил за другом. С отрешенным видом тот уставился на маленькую кастрюльку с пиль-пиль\* — казалось, она его гипнотизировала.

— Хосе...

Тот не откликнулся, словно и не слышал. Ел безразлично, не смаковал пиль-пиль, как обычно. «Жует через силу», — подумал Зин, пытаясь понять, какая может быть связь между подавленным состоянием друга и просьбой Микеля, брата Хосе. Хотя просьба это или приказ? «Найди скорее моего брата и не отходи от него ни на шаг».

— А Микель знает, что ты разругался с Бегоньитой?

— Что?

— Я про брата твоего спрашиваю. Когда ты его в последний раз видел?

\* Популярное у басков блюдо из съедобного растения пиль-пиль.

— Утром. Дома.

— В котором часу?

Хосечу вдруг захохотал. «Глория, красотка,— закричал он, обращаясь к девушке,— мечтаю умереть, припав к твоей груди,— после этого хоть в ад». Зин тоже засмеялся, подыгрывая Хосечу, хотя подумал, что тот просто хочет сбить его с толку. Он пристально смотрел на него, пытаясь найти какую-нибудь деталь, еле заметный знак, который позволил бы ему понять, что на самом деле на уме у друга.

— Я тебя спросил, в котором часу ты видел брата.

Плотная, привлекательного вида девушка, сидевшая на другом конце стойки, помахала ему рукой:

— Привет, Зин, как дела?

Хосечу сказал: — Пригласи сюда толстушку.

— Это Мариола. Разве ты ее не знаешь?

— Нет. Но окорока у нее вполне аппетитные.

Он снова засмеялся — хмель уже слегка пробрал его.

— Бабы у тебя ничего, надо признать,— сказал он, с трудом пережевывая еду.

В глазах крепко сбитой, с ослепительно белыми зубами Мариолы так и плясали веселые чертики.

— Привет.

— Слушай, это мой друг Хосечу. Он хочет с тобой познакомиться.

— Привет, Мариола,— сказал девушке Хосечу фатоватым голосом, таким дикторы на телевидении читают рекламу.

— Набрался уже, а? — Мариола ткнула локтем Хосечу под ребра и удалилась, не изменившись в лице, только сказала на ходу: — Ну и нахал твой друг, Зин, подумаешь, Роберт Редфорд нашелся...

Вновь усевшись на краю стойки, она показала Хосечу язык, крикнула высоким голосом, перекрывшим шум в зале: «Привет папе и маме!» — и повернулась к ним спиной.

— Кто она? Сила у нее, как у мужика.

— Может, она мужик и есть. Ведь никогда точно не знаешь, пока не разберешься.

А Хосечу уже кричал Глории:

— Принеси нам еще жратвы, красотка. И подойди поближе, дай мне посмотреть на то место, где бы мне

хотелось умереть. Мечтаю умереть в твоих объятиях, черт бы меня побрал.

— По мне, так можешь сдохнуть где угодно.

— Видишь, Зин, с бабами мне сегодня не везет.

— Это уж точно.

— И что в них такое, в окаянных, что они то в руки сами даются, то близко к себе не подпускают. Вроде как когда в карты играешь. Ты разве не заметил? Все зависит от того, как повезет, а везение и невезение идут волнами.

Глядя на Глорию, он думал, что все объясняется более чем просто: он уже месяц как с ней не встречался, «а уж до чего она сладкая, и как раз именно сегодня мне позарез необходима».

Но, хотя Хосечу крепко выпил и валял дурака, перед ним все время стояло удивленное лицо Санромана, а в ушах звучал вопрос: «Что вам угодно?» И еще он видел, как плещется юбка Бегоньиты, когда она под руку с Иньяки уходит от него, тесемки на ее туфельках-альпаргатах, ее точеные ножки — Бегонья шла, на каждом шагу привставая на цыпочки. «Что я за сволочь такая,— подумал Хосечу,— сколько пакости развел всего за пару часов, нет, дерьмо я собачье, мразь». Но вслух он закричал:

— Этого требует наша Родина — Страна басков! — и высоко поднял бокал.

В этот момент и появился Микель. Сурово глянув на него и процедив сквозь зубы: «В чем дело?» — он выволок Хосечу и грубо затолкал в машину, так и не позволив закончить патристическую речь.

*Мои размышления прерывает приход Микеля.*

*— Давай сниму с тебя наручники,— говорит он.*

*Через полуоткрытую дверь я слышу, как бушует Гайолита: «Фашисты вы, больше никто! Как можно — заковычивать товарища в наручники! Ему и так не сладко!»*

*Микель пытается сунуть ключик в замок наручников. Я вижу, как дрожат его сильные пальцы. Он все никак не может попасть в личинку замка.*

*— Что со мной будет, Микель?*

*— Судить тебя будут.*

*— Если будут судить, то приговорят к смерти.*

*— Что я могу поделать?*

*В глазах у него тоска, я слышу, как он бормочет: «Что-*

нибудь придумаем». Наконец он отмыкает наручники, и я снова чувствую себя свободным.

— Как странно, Микель, без этих браслетиков я ощущаю себя таким же человеком, как и ты, хотя я твой пленник.

— Ты не мой пленник.

— Кто же я такой, скажи.

— Скажу. Если ты чей-то пленник, то только своего недомыслия.

— Ты всегда мне был вместо отца.

— Ладно, будет тебе.

Пожелай я этого, мне не составило бы сейчас особого труда вырваться отсюда. Микель настолько удручен всей этой историей, что совсем потерял бдительность: рукоятка его «парабеллума», засунутого спереди за пояс, искушающе смотрит прямо на меня.

Я встаю и принимаюсь расхаживать по комнате.

— Прикрой дверь и успокойся,— приказывает Микель. Он сидит на кровати, голова понуро опущена.

Я выполняю его приказ.

— Пападок скоро придет.

— Высокая честь,— не без иронии говорю я.— Передай ему мои слова. И еще скажи, что он может не тратить на меня зря время, нечего ему особенно беспокоиться.

— Я при вашем разговоре присутствовать не буду.

Микель закрывает руками лицо. Слезы текут по щекам, капают на плитчатый пол, крупные, прозрачные капли — очищенная от примеси боль моего брата. Дай я волю своим чувствам, я бы обнял его и сказал: «Ты ни в чем не виноват, да и, собственно, никто вообще не виноват — просто так уж все устроено на свете, ничего не поделаешь». Я бы сказал ему еще: «Микель, не заставляй и меня плакать — лучше я буду выглядеть в твоих глазах отпетым циником, чем проявлю слабость духа. Тот мир, Микель, наш прошлый мир, был надежным и простым, в нем еще не было тех мучительных сложностей, что свалились позже на наши головы; всех этих душераздирающих разговоров о тирании центральной власти, о судьбе Родины, свободе баскского народа. Как дружно мы жили. Ты же помнишь, Микель, что хотя мы, бывало, и сердились друг на друга, но были не разлей вода. А теперь видишь, какую жалкую роль нам предстоит играть: тебе — палача, мне — жертвы».

— Пападок соберет всех наших. Они будут решать, как с тобой быть. Но сначала тебе дадут слово. Не вздумай отказываться от него. И не валяй при этом дурака, забудь свой дурацкий сарказм — заклинаю тебя. Расскажи им все, что с тобой произошло.

Микель поднимает голову. Глаза у него красные, губы дрожат.

— Обязательно воспользуйся этой возможностью, возьми слово, Хосечу. Ты должен защищаться.

— Они не поймут меня.

— Это еще неизвестно. Ты им должен все объяснить. Постарайся убедить их.

Он встает, кладет мне руки на плечи. От него веет силой, и я рядом с ним чувствую себя беззащитным мальчишкой. Я боюсь совсем раскиснуть, когда слышу его дрожащий от слез голос: «Хосечу, расскажи им то, что ты мне рассказывал — про чайку. И про Бегонью. Все им расскажи. Они же люди. У них тоже чувства есть».

— Но они скрывают их, словно позор. Позор или грех, в котором стыдно даже признаться, я это знаю, Микель. Они стараются отвести свое лицо от Бога. И делают это совершенно осознанно. И ты это знаешь, ты тоже не собираешься покаяться, не хочешь стать на колени и попросить прощения у собственной совести.

— Может быть, твои слова заставят всех нас задуматься.

— Это невозможно. Они не поступятся своей славой непреклонных борцов, не посмеют нарушить клятву верности Организации. Помимо всего прочего, из страха перед расплатой.

Голоса за перегородкой звучат все громче и громче, хотя слов не разобрать, я слышу, как Гайолита что-то кричит.

Я спрашиваю Микеля: — Что с ней творится?

— Она не хочет принимать участие в суде. Считает его чистым фарсом.

— Дай ей поговорить со мной. Она меня в конце концов послушается.

— Попытаюсь, но только учти, если она откажется участвовать в суде, он будет отсрочен. А может быть, и вовсе не состоится — все решится без суда.

— Я виновен, Микель. Я предал вас и заслуживаю кары.

Крик за стеной не смолкает, а Микель снова сникает. Он

садится спиной ко мне, листает Библию, и рукоятка пушки снова смотрит на меня. «Как странно,— думаю я.— Микель ведь никогда растяпой не был; какого черта он задумал?»

— Ты Библию читаешь?

— Только Евангелие. Оно напоминает мне о прошлых временах.

— Если тебе это помогает...

— Утешает.

Мы стараемся не говорить ничего лишнего. Иначе я бы его сейчас спросил о Зине: как он отнесся ко всей этой истории? И согласен ли он с этой затеей — с шарами? Уж больно все на театр смахивает: белые шары, черные шары. В голове мелькает мысль, что ужасно все нелепо — неужели жизнь человека может зависеть от цвета шаров? Хотя, в сущности, что такое цвет? Учитель физики нам объяснял, что цвет вообще дело относительное, но черный цвет, именно черный,— это уже полное отсутствие цвета и, следовательно, само отрицание жизни.

— Помнишь конкурс детского рисунка в «Корте Инглес»\*, когда я первое место занял?

Микель удивленно смотрит на меня.

— Да. К чему ты спрашиваешь?

— Так, подумал про черные и белые шары. Мне сколько тогда было, лет семь?

— Шесть. Я в тот год как раз в школу пошел. Ты тогда радугу нарисовал.

— То есть все цвета, кроме черного, заметь.

И тут я помимо своей воли спрашиваю: «А как Зин?» Про Усатого я не спрашиваю, я и так знаю, что он обо мне думает, и вполне уважаю его мнение — его мне не в чем упрекнуть. Не интересует меня даже то, как решил поступить со мной Пападок. Спрашиваю я про Зина, потому что вспомнил, что он тоже участвовал в том детском конкурсе, нарисовал черным карандашом какое-то жуткое лицо. Рисовал только черным, другого цвета на его рисунке не было.

Микель молчит, в руках у него Библия. Он отрешенно смотрит на книгу, на ее коричнево-шоколадный переплет, на золотые буквы и позолоченные металлические уголки, потом кладет на ладонь, словно взвешивает.

\* Коммерческая сеть, куда входят крупнейшие универсамы, в которых с целью рекламы проводятся всевозможные конкурсы и представления.

— Мать так ничего про тебя и не знает,— говорит он, не глядя на меня.

— И нечего ей про меня знать. Я хотел навестить ее, но на автостраде было слишком много патрульных машин.

— Что ей сказать?

— Скажи что хочешь. Что я в аварию попал. Все, что тебе в голову придет.

Мы несколько секунд молчим, и я спрашиваю:

— Как она себя чувствует?

Микель пожимает плечами, спина его уныло сгорбилась. Его поза как бы говорит об одиночестве нашей матери, о предчувствии ее, возможно, близкой смерти. Выражает она и тяжесть одиночества, в котором сам Микель скоро окажется.

— Знаешь, кто к ней иногда приходит в гости?

Конечно знаю. Но я молчу. Протягиваю руку и беру книгу из рук Микеля. Подушечками пальцев ласкаю вдавленные золоченые буквы, углубление на обложке, где под римскими номерами напечатаны десять заповедей.

— Нет,— вру я наконец.

— Бегоньита.

Наверное, я последний раз при жизни слышу это имя из чужих уст.

При выезде из города их настигла гроза. Над машиной сверкали сухие и резкие, как удары кнута, вспышки молний. Передние колеса струями разбрасывали в сторону воду, залившую шоссе. Дождь усиливался, он перешел в яростный ливень, который обрушивался на капот, бешено плясал на нем, разбивался о ветровое стекло, оставляя мерцающие водяные звезды, которые, казалось, жили своей особой жизнью.

Вопрос Микеля нарушил напряженную тишину:

— Тебе нечего мне сказать?

Хосечу беспомощно развел руками. Как объяснить брату или кому бы то ни было, даже самому себе, что творится в твоей душе?

Как раз в этот момент снова ослепляюще-красным сверкнула молния, затем послышался оглушительный грохот. Он опустил голову.

— Мог бы и объяснить мне...

— Что ты хочешь, чтобы я тебе объяснил?

— Все. Мне надо знать все. Где ты был с той минуты, как вышел сегодня утром из дома, и что у вас с Бегоной произошло.

Микель пытался внушить брату, какой он теперь опасности подвергается, что отныне он уже не свободен в своих действиях, что вся полиция идет за ним по пятам.

— Любой твой промах, любая неосторожность может навести их на твой след, а тогда ты и нас всех подставишь.

— Не надо преувеличивать. Ты сам мне сказал, чтобы я вел себя как ни в чем не бывало. Вот я и поехал с Бегоной на Пасео Маритимо, решил там попить пива — мы ведь туда почти каждое утро ходим. Там я с ней поссорился. Нарочно.

— Нарочно?

— Да. Не хочу я ввязывать ее в это дело. Но тут, как на зло, Иньяки явился. Тогда я разозлился по-настоящему, что было — то было. И она ушла с ним. А потом Зин предложил мне зайти посидеть где-нибудь. Вот и все.

— Но ты же пьян.

— Такого больше не будет. Не беспокойся.

Микелю вспомнился тот вечер, когда отец робко спросил его, не является ли он членом Организации: «Ты с ними?» Он лишь молча глянул на отца. «Я уже догадался, сынок, только вот не могу сказать тебе, правильно ты поступаешь или нет». Отец, тихий по натуре человек, с годами обрел черты придавленного жизнью неудачника, не ожидающего от судьбы ничего хорошего. Он тогда напомнил Микелю о своем брате Луисе. «Ты ведь и сам хорошо историю его знаешь, сынок, он в свое время был ярким республиканцем, попался за это тремя годами тюрьмы. А при Франко, видишь, состояние скототил. Ты слыхал хоть раз, чтобы он что-нибудь против Франко говорил? А когда напомнишь ему, что он был когда-то красным, он в ответ смеется, и только. Это все, говорит он, грешки молодости. А я — видишь, какой я стал. На четыре года моложе его и в войне не участвовал, а получился — ни рыба ни мясо. Мог бы, наверное, по-другому жизнь свою устроить, да что-то ничего у меня не получалось. Вот я и сказал себе: займись-ка ты лучше своим клочком земли. Может, это мне на роду написано — я так считаю, что судьба каждого человека с рождения предреше-

на. Не знаю, прав ли я, но я смирился, принял жизнь, как она есть, не ропщу и ко всему готов. Даже к тому, что моих детей, похоже, на улице где-нибудь пристрелят. Я так говорю, потому что знаю — Хосечу за тобой пойдет. Запомни это, Микель. Меня не удивит, если тебе хоронить его придется. Слишком уж он горячий».

— Ты слишком горячий, Хосечу. Так жить нельзя. Надо твердо стоять ногами на земле, в кулаке зажать свои эмоции и сохранять голову холодной.

— Согласен.

Пастбища кругом заблестели, омытые дождем, пашня набухла, словно пропитавшаяся влагой губка. Хосечу невидящими глазами смотрел на сверкающие лужи, на стрижей, чертивших ломаные линии на дождевой завесе, на густые тополиные рощи, посвежевшие от грозы, будто источавшие здоровье. Он думал о том, что же будет дальше, но как только закрывал глаза, перед ним возникал полковник Санроман со своим биноклем в руках. Мог ли он подумать...

— Но я должен был это сделать! — крикнул он, желая утвердиться в своей правоте. — Должен был доказать вашей Организации, что я не хуже любого из вас!

За этим взрывом чувств последовала пауза, и Микель, стараясь отогнать от себя тревожные мысли, сосредоточился на дороге, превратившейся после дождя в море разливанное, — они не столько ехали, сколько плыли по воде, будто на катере.

Потом он сказал:

— Я уже поговорил с одним человеком из Организации. Это очень авторитетный человек.

— И что?

— Он хочет познакомиться с тобой.

— Когда?

— Сегодня. Ближе к вечеру.

— Вы собираетесь объявить, что смерть Санромана — ваших рук дело?

— Нет. И не задавай больше вопросов. Как только домой приедем — ложись выспись. К вечеру тебе нужно быть в форме.

Хосечу засыпал, а голову сверлил застрявший смертоносной пулей вопрос матери: «Как это ты без Бегоньиты пришел, а я тут такое вкусное мясо с овощами приготвила».

Бегоньита, глаза Санромана, огромная чайка, она разрасталась прямо на глазах, затмевая все небо чудовищными крыльями, а потом, описав полукруг, терялась в море. Но даже исчезнув из виду, исполинская чайка угрожала ему, обвиняя и упрекая: что ты наделал, Хосечу, как ты мог совершить убийство?

Когда он проснулся, небо было ослепительно синим. Оно казалось перевернутой и тщательно промытой огромной фарфоровой чашей, на чистом фоне которой лишь изредка лениво тянулись растрепанные облака, напоминавшие разорванные клочья ваты, или пирожное-безе, или куски сахарной ваты, что продают на ярмарках. Пахло влажной землей, а из хлева тянуло запахом терпким и теплым, как дыхание ягненка. Он освежился под душем, напряжение сменилось безразличием: как пройдет предстоящая встреча?

Микель ожидал его в машине. «До свидания, мама». Хосечу показалось, что своим поцелуем он оскверняет лоб матери. И снова шоссе, но теперь в сторону города.

На въезде их дважды останавливали. «Ваши документы. Документы на машину». На них уставился значок автомата, просунутого в салон машины. «Куда направляетесь?» Микель достал из бардачка бумаги, протянул полицейскому: «Я — на работу, а брат просто в город, куда именно — спросите у него сами, он скажет». «Ну и выдержка у Микеля», — с гордостью за брата подумал Хосечу. Он подождал, пока полицейский задаст ему вопрос, и с беззаботной улыбкой произнес заранее заготовленный ответ: «Меня друзья ждут, хотим повеселиться — каникулы ведь». Полицейский отпустил их.

На улицах, залитых солнцем, тишина. Глухое молчание страха лишь изредка разрывал истерический вопль сирены патрульного автомобиля. Куда они на этот раз мчатся? — читается безмолвный вопрос в брошенном исподлобья взгляде редкого прохожего, и снова гнетущее молчание страха — страха перед любой военной формой, какого бы цвета она ни была — зеленоватой, синей, коричневой\*.

— Совсем с ума сошли.

— И все из-за тебя.

— Ладно тебе, Микель, перестань, вовсе не во мне дело. Может, ты считаешь, что это я терроризм придумал? Тер-

\* Цвета формы различных видов внутренних войск.

ролизм существует с тех самых пор, как мир родился,— может быть, потому, что люди без него не могут. Но на этот раз именно вы разбудили спящего зверя, который может стать страшнее чумы, страшнее любого вековечного ужаса. Вы его разбудили и пустили разгуливать по улицам, чтобы зверь этот наводил страх на людей.

— Может, ты и прав.

— Ты только вдумайся. К примеру, атомная бомба. Вот он, настоящий символ вселенского террора, ставший мифом нашего времени. И живет он уже помимо нашей воли, развивается по своим законам, не зависит даже от воли своих творцов. Вроде того страшилища, которым пугают детей, который питает их сны, да и сам, как вампир, питается их страхами. Это нечто за пределами разума.

— Да, не исключено.

Лоб Микеля избороздили морщины, он нахмурился, пытаясь вникнуть в доводы брата. Микель был человеком цельным, словно высеченным из глыбы, но воображением природа наделила его не слишком щедро. «Видимо, Микель меня не понимает»,— подумал Хосечу. Но с другой стороны, и правда — разве террор не предполагает суеверного ужаса? Не исключено, что это своего рода религия: ведь великие жрецы атомного террора существуют и поныне. Их портреты мы каждый день видим в газетах. Брежнев, теперь Рейган... Они похожи на наследников первобытных шаманов, и, подобно тому, как те постоянно держали своих сородичей на грани помешательства, эти сегодня умело промывают нам мозги, доводя до идиотизма. Они обуздывают нашу свободу, как им заблагорассудится. Эти новые Зевсы, господа и жрецы атомной молнии, облечены сегодня той же священной властью, что была у шаманов, ибо люди нуждаются в страхе и в тех, кто обеспечивает их потребность в страхе.

— Приехали.

— Тут и живет твой герой?

Микель пожал плечами.

— Не знаю и никогда не знал, где он живет. Меня это не интересует.

— Извини, пожалуйста.

— Мне надоела твоя наглость. К тому же тебе пора привыкать не задавать вопросы. Ладно, пошли.

Вечернее солнце золотило камни крутой, сбегаящей вниз незаасфальтированной улицы. По земле заскользили удлиненные тени — большая, плотная Микеля и тонкая, хрупкая Хосечу. Перед убогими белеными домами, чем-то похожими на голубятни, шумела детвора. Чуть пониже, в конце покрытого чертополохом склона, усеянного всяким хламом и кучами мусора, босоногие сорванцы гоняли спущенный мяч. Над одним из домов вывеска: «Бар Эскивель, здесь кормят дешево».

— Подожди тут,— сказал Микель.

Хосечу смотрел на крыши внизу, будто покрытые коростой сероватой грязи. «Тут, наверху, хоть дышать легче»,— подумал он. Бойкая девчонка — лет пятнадцати, не больше — зазывающе зыркнула глазами, проходя мимо. «Не иначе как в бордель со временем попадет»,— решил он.

— Хосечу,— Микель махал ему рукой, стоя в дверях бара,— давай входи.

Жирные мухи мирно паслись на голубой пластмассе стойки. Человек с плоским, словно продавленным лицом, с любопытством воззрелся на чужаков. Безногий инвалид, продававший лотерейные билеты, громко возмущался, что не смог на этот раз заработать,— Хосечу с трудом обошел столик, за которым тот сидел, настолько тут было тесно. Завсегдатай с окурком, прилипшим к губе, ухмыльнулся ему навстречу. «Счастливики, мне бы их заботы, живут как хотят»,— подумал Хосечу.

Узкий туннель коридора заканчивался плохо освещенной квадратной комнатой. Там и сидел он, за столиком справа, в рубашке с засученными по локоть рукавами.

— Это Хосечу, мой брат,— сказал Микель.

Здоров мужик, ничего не скажешь. От пожатия его руки рука Хосечу сразу же заняла, пальцы у того были как стальные.

— Меня зовут Пападок,— услышал он звеневший металлом голос.

— Папа... как?

— Вообще-то меня зовут Папой Доком. Но все называют просто Пападок.

Он весело засмеялся, глядя на удивленное лицо Хосечу.

— И не спрашивайте меня почему. Курить хотите?

В губах у него была сигарета «Дукадос».

Микель спросил: — Может, ты с ним один на один хочешь остаться?..

— Успеем еще.

Пападок в упор разглядывал Хосечу, словно картину на распродаже, прежде чем раскошелиться на нее.

Микель хрипло проговорил: — Объясни ему все. Расскажи всю историю с Санроманом.

— Не торопись, — остановил его Пападок.

Шея у Пападока была как у быка, голова большая, короткие и жесткие волосы, в которых пробивалась седина. Под взглядом его серых глаз Хосечу хотелось потупиться, словно от стыда, что он уродился таким слабым и ничтожным.

— Значит, решил к нам податься?

— Это мое единственное желание.

— И откуда оно?

— Честно признаться, мне и самому трудно объяснить. Может, потому, что меня влечет борьба.

— Это хорошо. Начнешь работать с группой разведки. Но сначала придется тебе некоторое время пожить со мной.

— Согласен.

Человек, стоявший за стойкой, появился с чашечками кофе, и они замолчали. Лишь после того как тот отошел, Пападок продолжал:

— Микель проводит тебя на квартиру. Если все будет в порядке, уже в сентябре попадешь на судно.

— На судно?

— Я слышал, ты море любишь.

— Да.

— Тебя укачивает, скажем, на рыбацьем баркасе?

— Да вроде бы нет.

— Прекрасно. Оружие к нам ведь не с неба падает, словно манна небесная. Оно приходит к нам с моря. Понял?

— Да.

В дверях появилась человеческая фигура, тоже достаточно массивная, но с небольшой головой. Вошедший смахивал на цыгана. Хосечу тут же обратил внимание на его пышные растрепанные усы.

Поздоровавшись с ним, Микель еле заметно шевельнул пальцем, Хосечу мгновенно усек этот знак. Пападок спросил его:

— Как ты думаешь, они друг друга знают?

— Не понял.

Взгляд Пападока вдруг стал жестким.

— Ладно,— сказал он, и глаза его сузились. «Врешь,— говорили они, сверкая за прищуренными веками,— а я не люблю, когда мне врут».

— Они друг друга знают,— тут же поправился Хосечу.— Во всяком случае, брат его точно знает. Того, с усами, я хотел сказать.

— А Усатый? Он с твоим братом знаком?

— Да.

— Почему ты так в этом уверен?

— Не знаю. Сердце подсказывает.

— Никогда не доверяй интуиции. Все, до завтра. Усатый отвезет тебя. А мы с Микелем пока тут останемся. Привет.

Ни он, ни Усатый не разлепили губ, пока машина спускалась по крутой улице в город. Лишь когда они остановились на маленькой площади, кишашей голубями, и Хосечу поблагодарил Усатого, тот в ответ улыбнулся, ощерив зубы. Смеркалось.

*— Оставь меня одного,— прошу я Микеля и тут же интересуюсь, который час, как будто время имеет для меня какое-то значение.*

*— Скоро одиннадцать. Пападок вот-вот придет.*

*Я смотрю, как брат выходит из комнаты. Совсем убитый, раздавленный горем, словно все это произошло не со мной, а с ним. Дойдя до двери, он оборачивается, видимо, хочет взглянуть на меня, но ему недостает сил, он опускает голову. «Микель, не мучай меня»,— хочется мне крикнуть, но я сажусь на кровати спиной к нему и кладу Книгу на колени. «Какая она легкая,— думаю я,— и тем не менее скольким людям она помогла принять смерть, скольких утешила в смертной тоске, успокоила в печали и сомнениях».*

*В комнате — в нее не проникает ни звука — становится все жарче. Эти часы — в самый канун сочельника — люди проводят дома. Чем-то приятно пахнет. Все в приподнятом настроении, предвкушают подарки, завернутые в золоченую бумагу. «Как бы мне хотелось что-нибудь подарить тебе, Бегоньита...» В эти дни она обычно ужинала у нас дома, а потом мы, одевшись потеплее, усаживались на мой*

«Дукати» и вихрем неслись по улице, залитой холодным металлическим светом луны, ледяной ветер бил нам в лицо, Бегоньита, сидевшая сзади, клала голову мне на плечо, крепко обнимая руками за пояс, будто пыталась удержать навсегда нашу с ней такую нехитрую любовь. Вокруг разливалось волшебное лунное сияние, мелькал призрачный и нереальный мир размытых красок и неясных контуров. Мы чувствовали себя как во сне, сами — два сна, мчащиеся по серебристой ленте шоссе. Мы приближались к морю, и его аромат, загадочный, таинственный аромат женщины, мгновенно пронизывал меня, и в эти минуты я с особой остротой чувствовал прикосновение груди Бегоньиты к моей спине, и жар ее дыхания проникал сквозь мой теплый свитер, огнем опалая все мое естество. И всякий раз мы оказывались на нашем излюбленном месте на пляже, на мягком тростниковом ложе среди песка, каким-то чудом сохранявшем дневное тепло, словно оно было живым существом. Мы шли туда, крепко взявшись за руки, бледные от волнения, будто из нас вытекла вся кровь, даже не осмеливаясь взглянуть друг на друга. За нами тянулись следы — целая поэма любви, начертанная на песке, — они оставались позади, как и умиравший теперь прожитый день, — след времени, стертый из нашей памяти радостным ожиданием завтрашнего дня, который уже жил в нас. Мы смотрели на море, или это оно смотрело на нас, а Бегоньита сжимала мою руку ледяными пальцами так, что я чувствовал, как ногти ее вонзаются в мою кожу, и спрашивала: «Тебя ночное море не пугает?» Мы не купались, купальный сезон давно кончился, но мы помнили летние ночи, особенно ту, когда я попросил ее раздеться совсем, чтобы посмотреть на нее, я умолял ее, глядя на стекавшие по ее молодому и свежему телу капельки воды, отражавшие лунный свет. Капельки света. «Ну сделай это ради меня, Бегоньита, разденься, пожалуйста, мне хочется увидеть тебя такой, навсегда сохранить это здесь, — я прикоснулся тогда ко лбу, — это будет лучшая твоя фотография». И она сняла купальник. Господи ты боже мой, какое же прекрасное творение ты создал! Ни один из нас не осмеливался шагнуть дальше, боясь нарушить таинство. Она этого не хотела, всегда стояла на своем, а я бы ни за что не пошел против ее воли. «Пусть это будет, когда мы поженимся, Хосечу,

так будет гораздо лучше. Я уверена, что так будет лучше».

Потом мы возвращались, охмелев от лунного света и жадных поцелуев, пахнувшие морем, промерзшие до костей, укротившие на время желание.

Бывают реальные вещи, в которые невозможно до конца поверить именно потому, что они ближе к сновидению, чем к яви. Жизнь несовершенна без них, без улыбки матери, смягчающей твою печаль, без первого сладостного прикосновения к телу женщины-ребенка, чистому и непорочному. Именно такое я испытал с Бегоньитой в те ночи, когда луна, обессиленно покачиваясь на морских волнах, озаряла их своим светом. Бегоньита помогала мне преодолеть плотское начало, превращая его в нежность, и ее простая правда вдруг наполнялась для меня глубочайшим смыслом: «У нас с тобой ведь не просто желание обладать друг другом, Хосечу, у нас с тобой настоящая любовь, а это — чудо».

Это было чудо подлинной гармонии, которое не объяснишь ни силой привычки друг к другу, ни готовностью к самопожертвованию ради любимого существа. Оно возникало из незначительных повседневных мелочей. «Ты хочешь пить, Бегоньита?» — и мы вместе пьем из одной бутылки кока-колу. Или: «Подожди, к тебе песчинка пристала...» — и, когда она снимает ее, ты понимаешь, что она ощущает эту песчинку всей своей кожей, она давно мешает ей. Это было наше сокровенное, истинное чудо, хотя мы об этом и не подозревали. Но ведь в этом и состоит подлинное чудо. Так было потому, что было. Все настолько просто, что и думать не о чем, так ясно, что и понимать ничего не надо.

Беда моя в том, что я слишком рано отказался от этих снов. Разрастающееся насилие зафлажило меня. Насилие и смерть ворвались в мои сны, преисполнили меня ненавистью. Но вокруг говорили: «Это священная ненависть! Эгоистично думать лишь о себе и своей любви». С каждым днем душа моя все больше опустошалась, а насилие все разрасталось, словно ядовитая трава, душило всех нас, опьяняло тлетворным запахом крови.

Именно тогда и появились во мне скрытность и замкнутость — отравы, которая, раз проникнув в чувство любви, в конце концов ее разрушает. Но разве я мог открыться Бе-

гоньите, признаться, что задумал убить Санромана?

«Как ты всего за несколько дней переменился,— говорила она мне,— совсем на себя не похож стал». А дело в том, что яд насилия уже проник в мою кровь и отравил ее. И ласки мои становились все грубее и бездушнее, особенно если я выпивал пару рюмок, впрочем, их становилось все больше, потому что я пристрастился к выпивке, пытаюсь хоть на время забыть о своем решении убить человека.

У меня возникает мысль, что надо бы поведать Бегоньите обо всем этом, и я стучу в дверь. Ее открывает Усатый. «Что тебе еще надо?» — написано на его позеленевшем от презрения лице.

— Ты не дашь мне ручку и клочок бумаги?

— Это не я решаю.

— Будь добр, дай, пожалуйста. Я бы сделал это для тебя.

— Все, что ты мог сделать для нас, дерьмо вонючее, ты уже сделал. Ладно, передам твою просьбу Пападоку, когда он придет. А это еще что такое?

Увидев, что на мне нет наручников, Усатый грубо заталкивает меня в комнату. Он закрывает дверь на ключ, и я слышу, как он злобно говорит:

— Мать их за ногу, этот чертов Микель, того и гляди, выпустит его на волю!

«Пойдешь с Гайолой»,— сказали ему, и он вздохнул с облегчением. Гайола — дьявол во плоти, особенно в деле, она прекрасно знает все ходы и выходы, все военные трюки и хитрости, во время операции действует с быстротой молнии, умудряясь при этом сохранять постоянный контакт с группами поддержки и разведки, со всеми занятыми в акции боевиками, а самое главное, никогда не теряет присутствия духа.

Усатый давал ему последние наставления:

— Ты, значит, стой себе спокойно возле газетного киоска на углу. Она подъедет на красном «мини». Тебе надо подсесть к ней, когда она остановится перед семафором.

— Из этого старья «мини» никакой скорости не выжмешь.

— Мы вчера его угнали. Из-за красного цвета люди обратят на него внимание, и легавые бросятся по его следу. А вы тем временем ускользнете на «додже», который будет

ждать в условленном месте, Гайола знает где. Так что не беспокойся. У «доджа» скорости вполне хватит.

Они переночевали на одной из квартир, которой пользовалась боевая группа, и сейчас приводили себя в порядок. В крохотной ванной Усатый брился опасной бритвой, лезвие ее исчезало в густой пене, словно нож в пирожном со взбитыми сливками. А Хосечу стоял под душем, ловя губами последние тепловатые струйки воды.

— Кто исполнитель? — спросил Хосечу, оборачиваясь полотенцем и затыкая его край за пояс.

— Для Гайолы приклад слишком тяжел. А у тебя ноги крепкие.

— Но Гайола никуда не годится за рулем. Ты ведь прекрасно знаешь, как она водит.

Усатый посмотрел на него в зеркале, в его взгляде читалось: «Что, испугался, улизнуть от дела захотелось, красавчик?» Но он лишь пробурчал, чтобы они с Гайолой сами договаривались, и продолжал скоблить бритвой щетину на подбородке.

— А потом?

— Это не ваша забота. Вас будут дожидаться где надо, спрячут в безопасном месте.

Из окна своей комнаты Хосечу смотрел, как занимается день. Над окутанным серою мглой городом нависла туча. Внизу, на палубе торгового судна, казалось пришвартованного прямо у дома, уже начиналась трудовая жизнь, движения у людей были по-утреннему неловкими, словно у заводных кукол. Появились первые автобусы — они ехали к докам и верфям, а напротив, в кафе «Поло», хозяин поднимал металлические жалюзи на окнах и двери.

Хосечу поправил пояс с «парабеллумом» на серой фланелевой рубашке и надел черную кожаную куртку.

— Не слишком заметно? — спросил он Усатого. Тот неодобрительно покачал головой.

— Лучше уж плащ надень. Он посвободнее будет.

Несколько минут спустя Хосечу, перепрыгивая через две ступеньки, спускался по лестнице. Он выпил крепкого кофе с молоком, сидя рядом с хозяином кафе «Поло», — от того так и разлило виноградной водкой. «Надоело мне это дерьмовое дело, — жаловался он осипшим голосом. — Клянусь, ей-богу, если и дальше эти типы из так называе-

мого демократического аюнтамьенто\* будут повышать налоги, закрою лавочку и уеду в деревню — там, по крайней мере, хоть чистым воздухом дышать можно».

— А что ты еще там будешь делать? Для ослов чертополох выращивать?

— С козами любовью баловаться. Ладно, как твои-то коммивояжерские дела?

— Так себе.

Посиневшие от холода носы; угрюмая очередь на автобус; первые грузовики с рыбой; старый дворник, справляющий на углу малую нужду — от струи валил пар; праздничные пожелания из синтетического снега в витринах магазинов — все эти картины мелькали перед ним в окне такси словно кинокадры на экране. Вот и снова Рождество. Сколько всего произошло с того памятного июля! Баланс как будто положительный. Или нет? Это как посмотреть. Теперь Хосечу был своим в рядах героев из плоти и крови. Сам стал загадочным существом. Тенью, внушающей страх. Возникающей то там, то здесь, исчезающей и снова возникающей. Он часто ездил во Францию. Неожиданно, без предупреждения наезжал домой. «Чем ты таким занимаешься, сынок?» — допытывалась мать, когда они оставались наедине, гоня от себя мысль о том, что Хосечу стал одним из «этих», не веря этому или делая вид, что не верит; «Господь такого не допустит, и Святая Богородица тоже. Почему ты не последуешь примеру Микеля? Видишь, какой он хороший сын, все у него как положено, помогает мне со скотиной, да еще и хорошо зарабатывает на починке всяких электрических штук». Хосечу в ответ только улыбался: «Мамочка, успокойся, у меня тоже хорошая работа, ну что ты зря пугаешь себя?» Он вспомнил день — точнее, вечер, — когда он познакомился с Пападоком. Усатый посадил его тогда в городе на крохотной площади, которую обжили голуби, и он долго словно лунатик брел по улицам. Пришел он в себя, лишь очутившись рядом со зданием Военного губернаторства, в котором ярко горели все окна. «Что здесь происходит?» — подумал он, глядя на людей с мрачными лицами, один за другим входивших в дом, и тут же понял, в чем дело — хоронят Санромана, старика с биноклем. Он лежал в роскошном гробу, вокруг горели

\* Муниципалитет (исп.).

огромные свечи и стояло много людей в военной форме. Гроб был наполовину покрыт национальным флагом с расшитым золотом гербом. Сквозь стекло виднелось восковое лицо полковника, залитое ярко-желтым светом свечей («А усики-то он все-таки подкрашивал...» — подумал Хосечу), левый висок покойника был прикрыт большим куском пластыря («Полчерепа я ему, должно быть, снес...» — подумал он). И тут Хосечу неудержимо затошнило. Когда он выходил, ему почудилась огромная чайка, а потом явилось лицо Бегоньиты, вспомнилось ее недовольное движение, голос: «Пусти, скотина, ты мне больно делаешь!» И летящее движение широкой юбки, тесемки на туфельках-альпартатах. Сидя сейчас в такси и глядя невидящими глазами на запущенные магазины, многие из которых еще были закрыты, он снова подумал: «С Иньяки ей все-таки лучше, чем было бы со мной. Он малый без затей, такие нравятся женщинам». Однако в глубине души он был уверен, что на самом деле это не так. Ему виделась поникшая, безразличная ко всему Бегоньита, безмолвно повисшая на руке мужа,— живая покойница. Такой она была в день свадьбы. В тот раз он ждал у выхода из церкви, чтобы поглядеть на нее («Ну и наглец этот Хосечу», — подумали, наверное, тогда многие его знакомые). Что за сила, размышлял он, влечет его к жертвам, оставляемым им на своем пути? Сначала Санроман, теперь Бегоньита. За новобрачными шли господа в парадных костюмах — до чего же нелепо они выглядели! И женщины — затянутые в узкие платья, в шляпах с густой вуалью, несмотря на жару, было лишь начало сентября. Она его не видела, хотя все высматривала потерянными глазами, похудела так, что одни кости остались, а Иньяки, мерзавец, не понимавший, что держит под руку прекрасный живой труп, радостно улыбался, выглядел как на цветном снимке, волосы тщательно уложены в дорогой парикмахерской, глаза светятся радостью торгаша, совершившего удачную сделку. Еще бы, разве не выгодное капиталовложение? Приобрести такую жену, как Бегоньита,— все равно что удачно купить произведение искусства, цена которого со временем лишь возрастает.

Странное дело, Хосечу даже не напился в тот день. Вернувшись на квартиру к Пападоку, он рассказал ему обо всем. «Нужно уметь всем жертвовать,— заявил тот,— ты сам сде-

лал выбор, отказался от женщины, но зато с тобой осталась Родина. Расскажи мне, какая она, твоя Бегонья...» Но он не стал рассказывать, сослался на то, что у него много работы, заперся в комнате и принялся зубрить текст, созданный еще в 1964 году, ставший для него катехизисом новой религии: «Для гудари-боевика, полностью, душой и телом решившего отдаться делу Революционной войны (РВ), обманывать, принуждать и убивать — действия, хоть и достойные сожаления, однако необходимые. И в этом смысле физическое уничтожение предателей более оправдано, нежели убийство врагов. Добиваясь торжества нашей идеи, нашей истины, нашей главной цели, мы не имеем права на колебания. Перед нами тысячи мишеней, и в нашей воле выбирать наиболее подходящую из них. Мы можем атаковать врага в любое время и в любом месте, в этом тоже наше преимущество. Таким образом, умело используя возможность концентрировать наши силы, нападая на точно выбранную и заранее тщательно изученную цель, в момент нападения мы оказываемся сильнее и многочисленнее противника. Наше правило: бросаться на врага с яростью боевого быка, защищаться с упорством кабана, скрываться с ловкостью и хитростью волка». Пападок как-то признался ему: «Мое чувство привязанности к тебе сильнее, чем обычное чувство товарищества. Может, потому, что у меня никогда не было сына, не знаю. Но должен предупредить — если ты обманешь мое доверие, у меня не останется иного выбора, как пристрелить тебя». Убеждения Пападока тверды как скала. Каждое его слово попадает в цель, как точный выстрел. «А ты многого от меня ждешь?» — «Жду, что ты выполнишь свой долг, а если потребуется, сумеешь достойно умереть, как настоящий партизан. Разве это много? Ровно столько, сколько положено». Сколько положено. Хосечу часто повторял эти слова в лагере близ Сан-Хуан-де-Лус, где он в тяжелейших условиях проходил обучение партизанским методам борьбы, он повторял их всякий раз, когда ему приходилось вытравлять в себе жалость и сострадание. В то время, как только вдаль на горизонте показывался огонек, он сразу пугался: «Они выследили нас» — и готовился, услышав крик в мегафон: «Попались, сволочи!» — стрелять до конца в тех, кто высадится с судна. Какое облегчение испытывал он, когда в очередной раз оказывалось, что это был всего-навсе-

го утлый рыбацкий баркас, затерявшийся в ночи. Хосечу откладывал автомат, повлажневший в его вспотевших от тоскливого страха руках, переводил дыхание и шутил с товарищами, у которых тоже словно гора сваливалась с плеч, — все в порядке, опасность миновала. Долгими ночами в открытом море, когда они перевозили оружие — под свежим норд-вестом или в тихую ясную погоду, — он, стоило ему смежить веки, снова видел Бегоньиту, поникшую, с ускользящим взглядом, «я больше не могу, Хосечу, это не жизнь, что ты сделал со мной, сумасшедший, любимый мой сумасшедший, обожаемый сумасшедший». Вот и теперь, в такси, он снова видел ее — или ему снилось? Он видел ее в темном подъезде своего дома, слышал ее прерывистое дыхание: «Не надо, Хосечу, я не могу больше...», едва угадывал он замирающий голос: «Не покидай меня, я без тебя жить не смогу». Он снова вдыхал ее запах, запах свежего моря, блаженно ощущал покорную податливость ее губ, они сдавались ему, как бы признавая свое поражение, а он умирал от охватившего его желания, с трудом умирал вышедшую из повиновения плоть, зная, что перебороть себя сможет, лишь оторвавшись от Бегоньиты, сбежав от нее: «Спокойной ночи, любовь моя, до завтра», и скорее в таверну, чтобы, пропустив там несколько рюмок, дожидаться, когда Глория закроет заведение и отдаст ему свое тело — единственный бальзам, исцеляющий мужчину от плотского проклятия...

Хосечу вышел из такси с совершенно заледеневшими ногами, не спеша зашагал по тротуару, постепенно заполнявшемуся озабоченными прохожими, обогнул квартал, выпил кофе с молоком — времени еще много — и наконец направился к газетному киоску на углу. Купил местную газету («нет, «Эль Паис» еще не поступал...»), раскрыл ее, прочитал заголовки — политические партии, правительство и обе палаты выражают энергичный протест в связи с безжалостным и зверским убийством... «это все, Хосечу, твои герои из плоти и крови...» — подумалось ему. И тут в паре метров от него резко затормозил «мини» кричаще-красного цвета — за рулем сидела Гайола.

— Все в порядке?

— Так себе. Такой кофе с молоком подали, что кишки переворачиваются.

— Ну так сходи облегчись.

Все произошло в мгновение ока. Выехали на улицу, обстроенную новыми зданиями, заасфальтированную лишь наполовину, Гайола притормозила и, не выключая мотор, сказала: «А вот и он. Нам повезло».

— Мигом обернись. Ты пересядь сюда, малыш, и ездай потихонечку за мной.

Хосечу попытался протестовать:

— Подожди — я сам...

Но она, уже одной ногой ступив на землю, ответила: «Не хочу, чтобы ты убивал, я все это быстро проверну». И он увидел, как она решительно подошла к плотному лысеющему человеку, который с ключами в руках направлялся к своей машине. Выстрел прозвучал еле слышно — словно на ярмарке запустили испорченную ракету.

Человек еще не успел коснуться земли, а Гайола уже была у машины.

— Теперь ходу, малыш. Поверни направо и жми прямо, пока я тебе не скажу. Но не гони, понял?

— Ну и быстрая ты, быстрее...

—... быстрее инфаркта. А сейчас помолчи и внимательно следи за дорогой. Цветы преподнесешь мне позже, а то будем зевать — так нам их обоим на могилки принесут.

— А кто это был?

— Осведомитель. Пропусти старуху!

Полицейский, регулировавший уличное движение, взял под козырек, когда Хосечу пропустил шедшую прямо на красный свет женщину.

*Если понадобится доброволец, чтобы прикончить меня, наверняка вызовется Усатый. Он всегда терпеть меня не мог. Невзлюбил с той минуты, как мы познакомились. Он преклоняется перед Пападоком и, видимо, ревнует, считая, что тот предпочитает ему меня. Как-то я ему прямо в глаза выпалил: «Послушай-ка, цыган, если бы не мое уважение к шефу, я бы подумал, что ты меня к нему ревнуешь, словно баба какая». Он тогда мне крепко врезал в ответ, усач проклятый, но я не стал давать сдачи — нечего было болтать, поделом мне досталось.*

*Опять за дверью исходит криком Гайолита. «Да что ты мелешь, сукин сын, разве Хосечу побежит отсюда, как крыса? Да он настоящий мужик, не то что ты!» Видать, Усатый*

ей что-то забористое ответил, там, похоже, завязалась драка. А вот и бесцветный, тихий голос Зина: «Прекратите, а то обоих пристрелю». Не могу понять, что это с Зином происходит. С того момента как меня в эту дыру запрятали — а прошло с тех пор уже больше трех часов,— он мне и слова не сказал. Микель прямо взбеленился, когда я спросил его, что против меня имеет Зин. Ну и сюрпризик приготовил нам Пападок, когда собрал вместе всех членов новой боевой группы. Моон, такая у Зина кличка, смотрел на меня как идиот, полураскрыв рот от удивления, да и у меня, наверное, вид был не лучше. «Вот уж такого я и представить себе не мог,— сказал я тогда,— подумать только, где жизнь снова нас свела». А он, нахмурившись, с явной досадой ответил: «Может, жизнь, а может — смерть». Прав оказался Зин, друг моего детства, с которым мы играли когда-то на школьном дворе в заброшенных подвалах, а теперь играем в увлекательную игру со взрывчаткой и «парабеллумами», в игру со смертью. Меня поразила его неудержимая ненависть к централизму и его приверженцам — кто бы мог представить, что Зин, гуляка и прожигатель жизни, способен на такое. По правде говоря, мне и в голову не приходило, что он работает на Организацию, я и не догадывался об этом. Но уже давно стал подозревать, что он из своего кармана выплачивает революционный налог\* за Иньяки, своего брата. Потому, во-первых, что Иньяки — один из самых махровых реакционеров в наших краях, а во-вторых, потому, что он упрям донельзя: вспомнить хотя бы, как он добился своего, женился на Бегоньите, от которой претерпел немало унижений. К тому же для Иньяки главное — сохранить хорошие отношения с Мадридом, где он в мутной воде ловит рыбу, и нажать при этом как можно больше денег. На остальное ему наплевать.

«Ты его прикрываешь,— сказал я как-то Зину.— Твой братец удавится, но ни гроша не уплатит, а тебе хорошо известно, что в таких случаях разговор короткий: кто налог не платит — тот платит жизнью». Он был немного под мухой и засмеялся в ответ: «Ну ты и придумаешь, тебе бы романы писать, Хосечу». Зин хохотал все громче, словно не мог удержаться, но что-то в его глазах выдавало его. Глаза, как и все

\* Налоги, насильственно, часто под угрозой смерти, взыскиваемые ЭТА с зажиточных басков,— один из способов финансирования организации.

лицо, смеялись, они так и прыгали, как негр в танце, но вдруг на мгновение, на какую-то долю секунды, останавливались, и тогда мне становилось не по себе от его взгляда, холодного взгляда убийцы.

Зин очень опасен. Он прирожденный террорист. Нет, я вовсе не считаю, что человек не должен сражаться за свою землю,— я лишь уверен, что во всем должен быть свой Предел. Может, именно поэтому он меня и сторонится, знает, что, если он захочет быть со мной откровенным, я заговорю с ним о том, чего он больше всего боится. «Послушай, Зин,— скажу я ему,— Идею добра мы носим в себе — ну, вроде как мать будущего ребенка. Бьет назначенный час, и она как бы оживает внутри нас, рвется наружу, ты ее рождаешь, как женщина — дитя. Произойти это может по самым разным причинам: например, ты теряешь дорогого человека, или заболеваешь тяжелой, неизлечимой болезнью, или просто видишь самую обыкновенную чайку. Не знаю, как тебе это объяснить, Зин. Но я точно понял, что Идея — знак божественного происхождения, но она, будем говорить откровенно, не есть выражение самого Провидения или проявления божественной воли... Идея вырастает из самых недр души человеческой, она естественна для человеческой сущности. А сейчас я скажу тебе главное и прошу не смеяться в ответ, иначе мне придется ударить тебя — так вот, знай, что одним из составляющих этой Идеи является заповедь, запрещающая убивать. Никто не имеет права убивать другого, Зин. Нет такой цели, какой бы благородной она ни была, которая оправдывала бы такое преступление».

Микель раскрывает дверь и застывает в проеме, заслонив собой вход в другую комнату. Он бросает мне:

— Усатый говорит, что ты пытался сбежать. Это верно?

— У Усатого с головой не все в порядке.

— Тогда в чем дело? Объясни мне.

— Я устал,— говорю я и ложусь на постель.

Микель с пушкой в руке подходит ко мне. Мне вдруг кажется, что это мой отец, очень он стал на него похож, и я спрашиваю себя, как можно всего за несколько часов так постареть.

Голос его доносится откуда-то издали:

— Хосечу...

Я поворачиваю голову в его сторону и смотрю на него, но

*он избегает моего взгляда.*

— *Если тебе есть что мне сказать, то говори, Бога ради,— прошу я.*

— *Нет, мне нечего тебе сказать.*

*И тогда меня вдруг осеняет страшная догадка.*

— Ты почему без Бургете?

— Он попался.

Сидя за рулем, Усатый перегнулся назад и поднял предохранитель на задней дверце, чтобы Хосечу мог сесть в машину. Потом он включил первую скорость и тихонько, стараясь не привлекать внимания, тронул «додж».

— Как дело прошло? — спросил он Гайолу, которая уселась с ним рядом.

— Хорошо. Дело сделано.

— Но сделано-то хорошо?

Гайола вдруг взорвалась: «Ну и засранец ты, цыган, я тебе разве не сказала, что все в порядке? Не приставай больше со своими расспросами. Понял? Говори, что с Бургете случилось!»

— Его пулями изрешетили.

Хосечу так крепко впился рукой в плечо Усатого, что почувствовал, как ногти вонзаются тому в кожу.

— Да говори же наконец, не будь болваном. Что произошло? Как все было?

Усатый резким движением стряхнул его руку, велел сидеть смирно. «Ты, деточка, будь пайнкой, спокойненько откинься на сиденье, чинно прислонись к спинке, вот так,— приговаривал он, поглядывая на него в зеркало,— надо вести себя, как подобает приличной публике, мы всего лишь добрые друзья, выехавшие на прогулку».

Он замолчал и нажал на газ, «додж» стремительно понесся по автостраде...

Гайола удрученно вздохнула.

— Ему просто нравится на себя важность напускать,— сказала она, прикуривая «Дукадос» и протягивая сигарету Хосечу.

— Не болтай зря. Сначала — дело. А главное в деле — неукоснительно выполнять приказ. Вам велено уходить порознь, ясно? Мальчишку я высажу в одном месте, а тебя, Гайола, в другом. И не вздумайте встречаться. Понятно?

Гайола:

— Но почему? Ведь все прошло без сучка без задоринки. Мы целы и невредимы. На кой черт все это?

— Так приказал Пападок. Кстати, еще одно дело, ровно в восемь мы собираемся у него дома.

Воцарилось молчание. Потом Усатый назидательно произнес: — Бургете сам во всем виноват. Прохиндей он был, вот кто.

— Он был нашим товарищем! — возмущенно крикнула Гайола.

— Не спорю, товарищем, но при этом и прохиндеем тоже. А к тому же бабником хуже некуда. Разве не знаете? Бургете,— продолжал Усатый, яростно выплевывая слова,— авантюрист, искатель приключений. Он объехал полмира, где только не был, чем только не занимался, пока не связался с марсельской мафией, сутенер проклятый, никто и не знает, как он к нам попал.— Признав, что, правда, второго такого за рулем машины не сыскать было, Усатый с таинственным видом добавил: — В этом деле баба замешана. Одна шлюха, официанткой работает.

— Тебе откуда это известно? — спросил Хосечу.

— А я за ним следил.

Усатый промолчал о том, что следил он и за Хосечу. Что видел его в здании Военного губернаторства, около тела Санромана: «Белый ты был тогда, как бумага, деточка», он глумливо хохотнул про себя, потом вспомнил, как наблюдал за Хосечу, когда тот с Глорией, дочкой Майте, хозяина таверны, входил в низкопробный меблированный дом. И еще видел его сидящим в машине неподалеку от школы, где работала Бегонья: «Но ты не решился подойти к ней, доволен был и тем, что видишь, как она вышла с книгами, все смотрел вслед, как девочка задиком на ходу крутит, направляясь к тому углу, где ее муж дожидался».

Гайола сказала, что это просто бесстыдство какое-то.

— Если ты за Бургете следил, значит, ты и за мной следить можешь? Или вот за ним?

— А ты думай что хочешь. Думать не возбраняется.

Свернув на боковой съезд с автострады, «додж» стал спускаться в сторону моря — полоска воды, похожая на голубой мазок кистью, еле виднелась вдали.

— Выяснилось, что у официантки был кот,— пояснил

Усатый, — а Бургете, зная, что у нее этот сутенер, все равно продолжал спать с ней. Вот ведь сволочь какая.

— И сутенер его пристрелил, так, что ли? — спросила Гайола.

— Да нет, не он. Бургете жандармы убили. Рано или поздно это должно было случиться. Судя по всему, он надумал бежать с этой бабой, устроить ее где-нибудь на квартирке, а может быть, хотел смыться от ее кота, кто его знает — теперь уж точно не узнаешь, — и вот взбрело ему в башку с пушкой в руке ворваться в банк, в один из филиалов Банка Бильбао. Он прихватил там три тысячи косых, целых три миллиона. Вот так вот, один, и все было на мази. Про Бургете, конечно, можно любую гнусность сказать, и все будет правда, но надо признать, нервов у него словно никогда и не бывало. Так что взял он свой куш, положил его в сумку, только на выходе из банка его поджидали эти, в треуголках. И они его изрешетили насквозь, ясное дело. Да и как иначе — на дело-то он один пошел. И вот эта его баба — а она его в машине дождалась, специально напрокат взяли — выскочила и стала рыдать над трупом, рвать на себе одежду. Так что вопрос теперь в том, что эта так называемая официантка про нас знает. Потому что Бургете, бабий угодник, возможно, проговорился ей. И в таком случае...

Теперь-то Хосечу понял. В таком случае всем придется на какое-то время покинуть насиженные тайные места, рассредоточиться, найти новые убежища и там переждать грозу.

— А как ты узнал про Бургете? — спросил он.

— По радио. Без перерыва болтают об этом, засранцы. С утра только и делают, что строят догадки: то ли грабитель был уголовником на прицеле у жандармов, то ли еще кем почище. Но при нем был наш «парабеллум». К тому же фотографию его скоро расклеят, я не удивлюсь, если даже на туалетной бумаге ее напечатают, а мы иногда с ним появлялись вместе в разных местах.

Усатый чуть повернулся к Хосечу: «Тебя, например, я не раз с ним видел, деточка, и поэтому я тебя спрашиваю: кто мне гарантирует, что тебя не видела эта проклятая официантка? Так что...»

На что он намекал? Что Хосечу мог их выдать? Что нужно убить официантку? «Додж» оставил позади идиллическое сонное селенье, на которое из низких свинцовых туч мягко

сыпался мелкий затяжной дождик, и остановился возле старого хутора.

— Давай сюда пистолет, детка,— сказал Усатый, протянув руку.

— Ты что, хочешь оставить меня здесь безоружного?

— Здешним людям можно доверять. Я приказ выполняю.

— Чей приказ?

— Пападока. Еще что-нибудь тебе требуется объяснить? Да, и держи вот этот паспорт. Теперь тебя зовут Томас. Томас Эчагуэ Рамос.

Он показал на серый пикап, стоявший под соломенным навесом.

— И вот еще что, Томас. Бак у этой машины полный. Ровно в восемь встречаемся у Пападока. Если дадим отбой, узнаешь об этом. И смотри не вздумай выкинуть какую-нибудь глупость.

Гайола запротестовала: «А я, куда ты меня собираешься везти?» Но Усатый даже не ответил ей — из дома выходил старый крестьянин с большим прыщавым носом. «Это ты, Рамиро?» — спросил он. Усатый ответил: «Ну ты даешь, с каждым разом все хуже видишь, скоро совсем ослепнешь».

— А, Вентура, я по голосу тебя узнаю.

В доме, куда Хосечу вошел, следуя за стариком с прыщавым носом, пахло едким дымом от сырых дров.

*Какие это были времена, Микель. Мы с Бегоньей прихватывали корзинку с едой и нашу молодую любовь — она-то всегда при нас была,— а ты взваливал на плечо удочки. Нас встречала зеркальная гладь — да, именно зеркальная гладь, без всяких преувеличений, ведь река тогда была чистой как самое чистое зеркало. «Вот мы и прибыли!» — кричал ты, предвкушая, как мы будем ловить форель. А Бегонья радостно пересказывала с лодки на лодку на причале. «Ты же шеею так свернешь, сумасшедшая!» — кричал я ей и догонял, рискуя сам переломать себе кости, но с затаенной надеждой нечаянно коснуться локтем ее груди. Она была еще совсем детской, похожей на нераспустившийся бутон — впрочем, слова эти мне в голову тогда и не приходили,— и трепетала от моего как будто случайного прикосновения. Бегонья возмущалась: «Ты так нарочно делаешь, Хосечу, и ничего хоро-*

шего в этом нет — грех это». И она усаживалась на траву как обиженная школьница: «Не буду я ловить рыбу, расхотелось мне, понял?» А сама ждала, что я буду ласкать ее и уговаривать, «да ладно, Бегоньита, подумаешь — что тут такого», целовать ее веки, влажные от грешного желания, «ну что, теперь ты успокоилась?» Все проходит, Микель. Я только что прочитал это вот здесь, в Библии. Остаются лишь дела наши, по ним и воздастся. Мне бы хотелось, чтобы ты задумался над этим, я знаю, в душе твоей страшное смятение, так и разум потерять можно, пойми, Микель. Вспоминать нужно. Воспоминания утешают — предаваясь им, иногда как бы вновь обретаешь невинность. Да, ты всегда тогда носил на плече удочки. Освобождал меня от груза, Микель. Я помню все, что ты для меня сделал. Видишь, я ничего не забыл. Но в решающий час воспоминания не имеют веса — весомы лишь дела наши, то осязаемое, что мы оставим другим. И мне хотелось бы знать, что же ты, мой старший брат, мой библейский брат, собираешься оставить мне? Что ты мне даруешь в наследство? Твои собственные прегрешения? Или просто пулю в затылок?

Ты ушел, так ничего мне и не сказав. В чем дело, Микель? Можно подумать, ты боишься меня, как Зин. Неужели действительно так важен этот телефонный звонок? Ты уверил меня, что сейчас придет Пападок, и потом оставил меня одного в этой дыре. В полном неведении. Если решено судить меня, то так и скажи. Если это звонит Зин, чтобы сообщить, что он выдал этот адрес полиции, пусть она сама мной займется, или что за дверью положен груз взрывчатки, от которой все взлетят в воздух через несколько минут, тоже скажи прямо, что угодно, только не эта тишина.

Врывается Гайола, обнимает меня.

— Куда они ушли? — спрашивает она. Я безразличножимаю плечами, гляжу в ее испуганные глаза.

— Ты куда-то уходила?

— Я не могла больше этого выдержать, смылась, но видишь, малыш, вернулась к тебе.

И она рассказывает, что бродила по пустынным улицам. «На них ни души, Хосечу, можно подумать, все жители вымерли, и я ношу в себе смерть». И еще она говорит, что на улице холод прямо как на Северном полюсе, улицы покрыты снегом, что она очень боится: «И не только за тебя — это

вроде предчувствия, дурного предчувствия, кругом патрульные машины рыщут».

Я спрашиваю ее про Зина.

— Зин — гнусный предатель. Если тебя будут судить, он проголосует за твою смерть, я в этом уверена.

— Но почему?

— Не знаю. Знаю только, что тебе надо бежать. И немедленно. Прямо сейчас. Я дам тебе пистолет, и если тебе удастся добраться до надежного места...

Я прижимаю ладонь к ее губам, «молчи, Гайолита, не сделаю я такого» — говорю я ей глазами, и она тут же понимает, что настаивать бессмысленно.

Она как слепая ощупывает мое лицо дрожащими пальцами. «Убьют они тебя». Я чувствую, Гайолита страдает. Вся белая стала, словно та богородица из воска, которую я где-то видел... Где же именно? И тут в моей памяти всплывает лицо скорбящей Богоматери с глазами Бегоньиты.

— Ты расскажешь обо всем Бегоньите? Ну, потом, когда все произойдет.

— Конечно же. Но сначала ты подумай хорошенько. Сейчас ты еще можешь бежать. Давай скроемся вместе. Речь ведь идет о твоей жизни! О твоей и о моей тоже. Ну послушайся же меня, черт тебя побери, спасайся!

Она без сил падает на постель, это не Гайолита, а лишь бледное ее подобие — где она, та сильная девушка с нервами покрепче гитарных струн.

Гайолита вдруг вскакивает.

— Кто-то идет,— говорит она.— Я дам тебе пистолет.

— Не надо.

— А вдруг это полиция? На, возьми.

— Все равно не надо.

Я подхожу к открытой двери и, нарочно высоко подняв голову, жду — будь что будет. Слышатся шаги. Голоса. Потом я вижу густые брови Зина и под ними красные, воспаленные глаза.

— Какого черта ты здесь делаешь? — спрашивает он, мгновенно вытаскивая пушку.

— Вас жду. Привет, Микель,— холодно приветствую я брата,— я думал, ты забыл про меня.

Микель, вне себя от ярости, врывается в комнату и выволакивает оттуда за руку Гайолиту. Та упирается, ее прихо-

дится тащить насильно. «Что с вами? — спрашивает она, в глазах ее застыл ужас.— Что происходит?» А Микель закрывает лицо руками, словно вот-вот расплачется.

— Пападок,— говорит он.

Я, весь дрожа от внезапного озноба, подхожу к нему.

— Что случилось с Пападоком?

— Мы с ним связь потеряли. Ни одна боевая группа, никто ничего о нем не знает, а ведь он еще три часа назад должен был сюда прийти. И в квартире его тоже нет.

«Боже мой!» — приглушенно вырывается у меня. Меня охватывает отчаяние. А Зин вдруг в бешенстве вопит:

— Ты в этом виноват, предатель! Только ты. И за все заплатишь. Прямо тут, на месте!

Зин снимает пистолет с предохранителя и делает шаг в мою сторону, но Микель с быстротой молнии бросается на него, хватая за пояс.

Раздается выстрел. Мне кажется, что брата убили.

— Микель!

В ушах Хосечу все звучали слова Пападока: «Только те, кто сами готовы умереть, имеют право убивать. Но убивать надо лишь в случае необходимости, не подвергая жертву лишним страданиям. Не упивайся страданиями жертвы. Но никогда не сожалей о том, что убил. И то и другое в равной степени опасно. Часто наши действия выглядят очень жестокими, особенно если приходится казнить бывших товарищей, предавших дело. Тебя ведь учили, что убивать — грех. Но в Революционной войне все дозволено. И в первую очередь убивать, именно убивать, потому что, предавая смерти других, мы и сами постепенно лишаем себя жизни».

Сидя под романским порталом каменного дома на хуторе, он смотрел в поле. Рядом, завернувшись в изъеденное крысами одеяло, старик с прыщами на носу невнятно бормотал: «В октябре мне восемьдесят шесть стукнуло, а я, видишь, еще со скотиной управляюсь».

Хосечу улыбнулся, а старик, словно угадав его не произнесенный вслух вопрос, продолжал:

— Трое их у меня было. А еще девочка, белокурая такая, ясная как солнышко — она в колодец свалилась, ей лет пять всего стукнуло. Хорошие были у меня парни. Все с оружием в руках погибли. Так-то...

Он помолчал немного, потом сказал: «Как я мог пережить все это, один бог ведает, но, видишь, все еще дышу». Сопровождавший его слова хрипый натужный кашель как бы подтверждал: «Все еще дышу, вот я тут перед тобой полная развалина, мертвее любого мертвеца, потому что и отдыхать мне не дозволено, надеяться не на что, ждать нечего, одно только осталось: зажигать поминальные свечи и смотреть, как пляшет их пламя».

— И это все ваше?

— Что? Ну да, мое, мое. И дом, и земля. Даже овраг рядом мой. И еще две коровы. Второй этаж я сдаю одному сеньору из города. Но его почти здесь не видать, иногда пришлет ко мне приятелей пожить. Вроде тебя. А я ни о чем не спрашиваю. Ни о чем знать не хочу. Да и зачем?

Он прихватил охапку дров и ушел в дом. С неба мягко сыпался дождик — такой мелкий, что казалось, это промозглый туман поднимается с окрестных лугов. Хосечу подумал о Бургете. Совсем недавно тот ему сказал: «От такой унылой погоды я сам не свой делаюсь». Он вспомнил Бургете, словно увидел его воочию. Небольшого роста, поджарый, нервный, угрюмоватый, глаза чуть косят. На правой руке у него был огромный шрам, вызывавший всеобщий интерес, а большой палец наполовину отрублен. «В Марселе это было, там мне рогоносец один ревнивый попался — нет, ты, Хосе, не смейся, не до смеху мне было! — я у него бабу увел, да так, что он и глазом моргнуть не успел, и стал он меня разыскивать, нашел-таки, поганец, резанул меня, а я в ответ так его по шее полоснул, что он сразу отзынул, его, как быка на корриде, черной кровью рвало, а потом он свалился на тротуар и откинул копыта». Бургете, преисполненный мужской гордыни, самодовольно улыбался: «А я с бабой его смылся, ну и грудь у нее была, доложу тебе, при моем небольшом росте я в ней совсем тонул, ей-богу, ну прямо задыхался там». У Бургете была своя философия. «Ты, Хосечу, — говорил он, — учись у меня, выжимай из жизни все что только можно, наслаждайся ею вовсю, потому как в один прекрасный день, когда меньше всего ждешь, — бац! — косяя за тобой и явится. Что нас ожидает впереди? Пуля — это уж точно. Что еще нам остается?..»

Что еще нам остается? В нескольких метрах от него в темно-зеленой листве одинокого кипариса продрогшие

воробьи перепархивали с ветки на ветку. «Все, жизнь к концу подошла...» — услышал он голос своего отца, которому оставалось сделать лишь еще несколько вдохов в больничной палате, залитой беспощадным неоновым светом, бесстыдно обнажавшим все вокруг, неумолимым даже к последней из тайн, к тайне смерти. «Ты, Хосечу, послушайся меня: ты ведь такой хороший, но характер у тебя очень трудный, он, Хосечу, может довести тебя до большой беды». Бегоньита держала его за руку, крепко сжимала ее и шептала, не отводя глаз от лица умирающего: «Ну скажи же ему, что ты его слушаешься...» А Микель сказал: «Тебе нельзя напрягаться, отец, ты от этого устаешь, лучше отдыхай, поверь, все будет хорошо — поверь мне...» И тогда умирающий посмотрел прямо в глаза Микеля, и во взгляде этом было осуждение и упрек. «Что отец против тебя имел?» — спросил тогда Хосечу брата. «Да забудь ты об этом, — отвечал Микель, — это все стариковские причуды». Но Хосечу так и не смог забыть того взгляда. Хотя в то время так ничего и не понял, разобрался он во всем лишь после того, как узнал, что Микель — один из героев из плоти и крови. «Отец мне этого никогда простить не мог», — признался тот. «А меня, — думал Хосечу, неожиданно разволновавшись, — меня бы он смог простить? Самое ужасное, — продолжал думать он, — что с каждым днем угасает мой былой энтузиазм, я теряю интерес к нашему делу. Мне говорят, чтобы я подложил взрывчатку там-то и там-то, и я, не задумываясь, выполняю приказ. Или велят, чтобы я предъявил счет за неуплаченный революционный налог такому-то, — это нужно, чтобы другим о налоге неповадно было забывать, — я спокойненько все выполняю как надо, выполняю приказ, но при этом у меня уже нет ощущения, что я служу правому делу. Как бы точнее это чувство выразить? Ощущение примерно такое, как у работника, вкалывающего на конвейере. Ему сказали закручивать такую-то гайку, вот он и закручивает ее на совесть, не думая о том, что выйдет с конвейера — то ли автомобиль, то ли стиральная машина. Становишься как автомат. Извилины выпрямляются. Дело в том, что с того времени, как провели знаменитую операцию «Людоед»\*, очень многое изменилось. Но тогда конечная цель была ясной, во всяком

\* Убийство в 1973 году адмирала Карреро Бланко, премьер-министра Испании при Франко, которое ЭТА объявило своей акцией.

случае, так нам казалось. А теперь — нет. Получается, иными словами, как если бы тот рабочий на конвейере начал понимать, что автомобиль или стиральная машина, которые он собирает, никогда и не станут автомобилем или стиральной машиной. С ума сойти можно».

Старик с прыщами выходит из дома, лицо у него испуганное.

— Сюда кто-то идет.

— Точно — сюда?

— Я только что видел из окна, выходящего на задний двор. По тропинке пробирается.

— Один?

— Да, один.

Хосечу затолкал старика в дом и велел ему усесться у огня, рядом с очагом. А сам спрятался за мешками с кормом. «Не исключено, — подумал он, — что дом давно уже окружен. А я тут без оружия, зачем только послушался цыгана?»

Но незванный гость, ворвавшийся в дом, с трудом переводя дыхание, оказался Гайолитой — лицо ее было скрыто под черным капюшоном.

— Где он?

Старик стал прикидываться дурачком, бормотал, что, дескать, если жилец и здесь, то где именно, он не знает, видимо, гуляет поблизости где-то.

— Может, улитки собирает в винограднике. Они ведь после дождя всегда из своей раковины норовят вылезти.

Гайолита запрыгала от радости, увидя Хосечу: «Ну и напугал ты меня, малыш!» Она бросилась ему на шею.

— Скорей, скорей! — сказала она, сбрасывая плащ.

— В чем дело?

— А в том дело, что времени у нас в обрез. Усатый нас там в пикапе дожидается.

Она еще не успела проговорить эти слова, а уже сдернула с себя свитер. Движения ее были торопливые, нервные, словно вот-вот конец света наступит.

Хосечу:

— Да можешь ты наконец объяснить, что происходит?

В ответ прозвучал треск расстегиваемой молнии на джинсах.

— Ну иди же ко мне, малыш.

В мгновение ока Гайола осталась в чем мать родила: «Ну

что, ты сам разденешься или тебе помочь?»

— Что ты делаешь, старик ведь рядом.

— Старика оставь в покое — он нам не помешает. Ну не тяни, иди ко мне.

Прямо у очага стояла сложенная из кирпича лежанка, покрытая сухими кукурузными листьями, и Гайола потащила его туда. «А вы, старый, помалкивайте, не мешайте нам».

— Иди же ко мне, малыш. Хоть немножко, но побудем вместе.

Старик уселся на стул, а Хосечу и Гайола оказались на лежанке. Прерывистое дыхание, стоны. И изумленный голос старика:

— Как прекрасно быть молодым. Вот бы и мне...

*Правая рука Зина вся истерзана, в крови. Неестественно высоким от волнения голосом Микель кричит: «Что ты наделала, Гайола?» А она ползет по полу к «парабеллуму», который Микель резко отбрасывает ударом ноги под буфет.*

— Вы что, с ума тут все походили? — кричит брат, хватая руку Зина и разглядывая ее.

*Гайола истерически вопит: «Да он же хотел его убить! Вы все это видели». Зин сжимает левой рукой запястье правой — с нее струйками стекает кровь. «Ну, паскуда,— бормочет он,— давно ты этого добивалась, теперь терпению моему конец пришел, так что прощайся со своим поганым малышом».*

*И снова голос Микеля: «Тише вы все! А ты успокойся, дай сюда руку и помолчи! Всем нам надо в себя прийти,— говорит он примирительно и добавляет: — Гайола, принеси аптечку. Нужно кровь остановить. И болеутоляющее».*

*Пока он аккуратно перебинтовывает руку Зину, который стоит белый как бумага, я сажусь на краешек постели. В комнате все перевернуто вверх дном — стол, пара стульев, столик из-под старенького телевизора, свалившийся, когда Микель и Зин катались по полу, книги, полка, этажерка, за которую Гайола ухватилась, прежде чем броситься на пол и выстрелить. «Должно быть,— думаю я,— мысли у всех сейчас в головах мелькают, как искусственные снежинки в рождественских игрушечных сосудах с цветным горным пейзажем внутри. Встряхнешь сосуд, и белые хлопья, кружась, медленно оседают на дно».*

— *Надо всем нам нервы унять,— повторяет Микель и бросает на меня взгляд, словно умоляя: «Пожалуйста, и ты помолчи, не осложняй положение, и так тошно, посмотри только, что из-за тебя тут творится».*

— *За меня не беспокойся, Микель,— говорю я. И поворачиваюсь к Гайолите — она уселась на постель рядом со мной и просит, показывая исцарапанный до крови локоть:*

— *Вытри мне кровь, пожалуйста.*

*Она смотрит на меня, а я благодарно ей улыбаюсь. «Ты мне жизнь спасла»,— говорю я ей тихо, отсасываю кровь на локте, отдающем жженой пробкой.*

*Слышится голос разъяренного Зина:*

— *Будем его судить. Сегодня же. Не откладывая!*

— *Для этого нам не хватает Пападока,— спокойно отвечает ему Микель, пряча бинты в аптечку.*

— *С Пападоком или без Пападока — все равно судить его будем.*

*«Ну до чего же меня Зин ненавидит»,— думаю я, а Гайолита со смеющимися глазами просит смазать ей локоть меркроминном.*

— *И пластырь сверху наложи. Всегда мечтала, чтобы мне налепили пластырь куда-нибудь. Неважно куда — лишь бы налепили.*

*И тут же шепчет на ухо: «Не забудь про мою пушку. Как пойдешь за пластырем, нагнись и подбери ее под буфетом».*

*Я улыбаюсь ей, не двигаясь с места.*

— *Прости, пожалуйста, у меня руки дрожат,— говорю я извиняющимся голосом.— Пусть уж лучше Микель тебе локоть смажет.*

*Микель мгновенно все усекает.*

— *Не баловаться,— предупреждает он.— Ты, Хосечу, уйди в комнату. Как понадобится, позовем.*

*Зин снова взрывается:*

— *Я требую, чтобы суд состоялся!*

— *Все мое время.— Микель с трудом сдерживается, это видно по его нахмуренным бровям.— Я сказал, что без Пападока мы ничего предпринимать не будем. К тому же и Усатого нет.*

*По дороге в комнату, ставшую моей тюремной камерой, я слышу, как Зин говорит брату: «Пападок и Усатый — это еще два черных шара!» И опять поражаюсь тому, до чего*

он люто меня ненавидит.

Я закрываю дверь за собой, и меня охватывает страх. Ложусь на постель, и сквозь дремоту в ушах звучат давние слова Пападока: «Никогда не проси снисхождения». Я уже почти заснул, однако чувствую, что вздрагиваю в полусне, когда в памяти всплывает: «Пощады не будет. Забудь навсегда это слово. Никто из товарищей тебя не простит, если ты их предашь. Даже твой собственный брат».

Я просыпаюсь от шума голосов — за стеной о чем-то бурно спорят. «Ну вот, — думаю я, — все уже собрались». И сразу же у меня возникает множество вопросов. Интересно, что они решили? Появился ли Пападок или о нем по-прежнему ничего не известно? И еще я спрашиваю себя, позволят ли мне в последний раз посмотреть на рассвет, прикончат ли меня здесь же или где-то подальше от этого места? Может быть, мне разрешат выбрать место казни, утешаю я себя самым глупейшим образом, в таком случае я попросил бы их, чтобы меня расстреляли у моря, на том самом пляже...

Усатый — он думает, что я сплю, — резко трясет меня за плечо. «Эй, детка, открой глазки». Я сажусь на постели.

— От тебя дешевым коньяком несет, — говорю я, не глядя на него.

— А ты уже смертью воняешь. Давай выходи.

В соседней комнате Зин, Микель и Гайолита. Они сидят за столом. Лица у них словно густо натерты свинцовыми белилами, Усатый же, напротив, весь багровый. От выпивки, думаю я и тут же падаю на диван — цыган резко толкает меня в плечо. Затем он садится за стол, картинным жестом вынимает из-за пояса пушку и кладет ее перед собой.

— Мы решили дать тебе слово. — Он встает и нервно расхаживает по столовой, глядя в потолок. — Даем тебе возможность объясниться, попытаться оправдать свои действия.

Свет лампы, направленной мне прямо в лицо, слепит меня.

— Вы не могли бы ее отвернуть?

— Нет, — отвечает цыган. — Ну и пижон, — возмущается он. — У тебя других забот нет? Нам не надо было с тобой связываться. Только беды ты нам принес, доносчик поганый.

Я моргаю, ослепленный ярким светом.

— А где Пападок? — спрашиваю я тихо.

— Мы ничего о нем не знаем, — отвечает Микель.

— *И вам это не кажется странным?*

— *Заткнись со своими комментариями,— вмешивается Зин.— Тебя тут судят. Только ради этого тебя сюда привели. Остальное тебя не касается.*

— *Раз Пападока нет, я отказываюсь от суда,— отвечаю я.*

*Гайолита встает, ударяет кулаком по столу: «И я то же самое говорю, не можем мы ничего предпринимать, пока не узнаем, где Пападок. Разве можно без него решать такой важный вопрос?»*

*И снова начинается неразбериха. Микель устало откидывается на сиденье стула, закрывает глаза — чувствуется, что напряжение его достигло предела. Зин молчит, бросая на меня мрачные взгляды.*

— *Знаешь что, Зин,— говорю я, воспользовавшись паузой,— мне бы очень хотелось кое о чем с тобой поговорить.*

*Но он, сволочь, не отвечает.*

— *Ты меня слышишь, Зин?*

— *Мне с тобой не о чем разговаривать.*

*Гайола, отойдя в дальний угол столовой, включает небольшой транзистор. Сначала звук его не слышен. Но вдруг она кричит: «Замолчите!» — и усиливает звук. «...Преступное покушение, в результате которого погиб генерал Вильякорта, судя по всему, дело рук боевой группы, один из членов которой проник в дом генерала, переодевшись в синий рабочий комбинезон. Позднее мы передадим дополнительную информацию».*

*Мы молча переглядываемся.*

Поднимаясь по глинистой тропинке, Гайола со смехом говорила:

— *Ну и симпатичный старикашка. Ты обратил внимание, какими глазами он на нас смотрел? А потом, когда я, еще не одевшись, грелась у печки, подходит ко мне и спрашивает, не позволю ли я ему дотронуться до себя — только дотронуться, ничего больше! «Я ведь со дня на день отдам концы,— говорит,— так мне намного легче будет, если, прежде чем я туда переселюсь, этими грешными руками тебя потрогаю».*

— *Значит, понравилась ты ему.*

— *Обязательно надо будет к нему вернуться, малыш.*

Что нам стоит еще раз порадовать старика.

Усатый ожидал их за рулем в пикапе на обочине дороги. «Еще немного, и я уехал бы,— зло сказал он и добавил сквозь зубы: — Свины вы, больше никто — только об одном и думаете».

— Да мы всего на пять минут запоздали,— сказал Хосечу.

— Как раз на столько, сколько надо, чтобы второпях кувыркнуться в постели,— уточнила Гайолита, раскрывая пачку с семечками, и добавила, ехидно вложив в свой вопрос двойной смысл: — А ты, цыган, хочешь?

— Да иди ты куда подалее!

Они долго ехали среди соснового леса, а потом Усатый вынырнул на дорогу, на ней почти не было машин.

— Поступили новые указания,— сказал он.

Гайола: — Этого и следовало ожидать. Ну и что?

— Мы не поедем на квартиру Пападока.

— Это было бы полным кретинизмом,— согласилась Гайола.— И куда же ты нас везешь, можно узнать?

— Там будут шеф, Зин и, возможно, твой брат, деточка.

Хосечу и Гайола молча лузгали семечки. Они знали, что, если Усатому не задавать вопросов, он и сам все скажет.

— Мне так кажется, что Пападок решил ускорить дело с этим генералом,— произнес он.

— С каким генералом? — спросил Хосечу.

— С Вильякортой. И эту акцию мы должны провести так, чтобы она выглядела как возмездие за Бургете.

— Но ведь Вильякортой занимается другая группа. Разве не так?

— Да. Группа «Чикаго». Но ее разгромили.

— В Мадриде, ясное дело.

Усатый кивнул и удрученно покачал головой.

— Плохая у нас полоса пошла,— посетовал он. Потом вынул из бардачка огромную сосиску, завернутую в целлофан, и та мгновенно исчезла под его пышными усами. Он довольно поглюкал. Затем неожиданно набросился на них: — О чем вы только думаете, мать вашу за ногу, только о том, как бы переспать, словно макаки какие! — Вслед за этим он звучно рыгнул и сплюнул в окошечко жидкую массу, перемешанную с разжеванным целлофаном, и опять заговорил, теперь уже понизив голос: — Всем бы вам, бабам, только чепчики накрахмаленные носить и уколы делать. Для

настоящего дела вы не годитесь — к оружию вас и подпускать нечего. Это не для вас.

Гайола резко повернулась к нему:

— Это почему же?

— Война — вообще дело грязное, а вы еще больше его пачкаете.

— Подумаешь, мужик сыскался — шимпанзе вонючий.

— Да, да. Для войны вы не годитесь.

— Да со мной ни один мужик в деле сравниться не может.

Ну, если усы отращивать — тут я, конечно, за вами не угонюсь. Не спорю. Но как с автоматом управляться — будьте спокойны — любому фору дам, а если ты со мной не согласен, давай посмотрим, кто кого раньше на небеса пошлет.

Она плюнула шелухой в лицо Усатому, тот едва успел прикрыться локтем.

— Смотри, врежу.

Хосечу расхохотался.

— С вами не соскучишься, — сказал он. — Клянусь вам, я бы давно попросился в отставку, если бы не такие веселые минутки. Не будь их — ушел бы на пенсию, и все тут.

При въезде на автостраду жандармы велели им остановиться. Усатый притормозил, предупредив: «Эй, вы, ведите себя как следует». Гайола, положив голову на плечо Хосечу, сделала вид, будто уснула. Жандарм, думая о чем-то своем, выполнив привычную обязанность, разрешил ехать дальше.

От тепла, шедшего от печки в машине, от посапывающей на плече у Хосечу Гайолы — она сначала сделала вид, что уснула, а затем уснула взаправду, — Хосечу совсем разморило, тянуло в сон. «Послушай-ка, приятель, — спросил он вдруг себя, — какого дьявола ты сидишь здесь, в этом пикапе с Усатым и с Гайолой?» Ему почудилось, что он опять слышит голос матери: «Все потому, что нынешняя молодежь страха божьего не знает». А Бегоньита улыбается: «Она, и верно, в чем-то права, Хосечу». И звенящий металлом голос Микеля: «Ну и парочка из вас получается, прямо хоть на экран! Возьмете меня шафером на свадьбу?» Звон посуды. Все они сидят в просторной застекленной кухне, а мать говорит то ли в шутку, то ли всерьез: «Тебе бы, Микель, жениться — вон ведь ты какой здоровый вымахал. Мужчина становится настоящим мужчиной, только когда женится». —

«А может, я уже обручен, мама. Может, обручен. Мо-жет, об-ру-чен...»

— Просыпайтесь. Приехали.

Гайолита, протирая ладонями глаза, сказала:

— Помираю пить хочу.

— Это все от семечек,— сказал Усатый.— Ну, пошевеливайтесь!

И куда это они попали? Хосечу, еще полусонный, огляделся, ничего не понимая. Широкая улица затоплена дождем, льющим как из ведра. Сквозь завесу воды мелькают размытыми огоньками красные и зеленые светлячки — они чертят воздух вверх-вниз, слева направо, туда-сюда. Бегонья, мать, Микель, кухня с ее привычными запахами и звоном посуды — все это оказалось сном. Да и на самом деле, не было ли все это прекрасным сном, подумал Хосечу, роясь в карманах широкой куртки в поисках пачки «Дукадос».

— Давайте поскорее. Мне тут долго стоять нельзя.

— Куда нам идти? — спросил Хосечу.

Усатый сунул ему в руку смятую бумажку: «Там адрес, выучи на память и проглоти бумажку. Встречаемся здесь».

Влажный ветер мягко ударил им в лица, на головы посыпались холодные капли дождя.

— Такси! — крикнула Гайола из-под капюшона дождевика.— Подожди, малыш, я сейчас все улажу.

— Да куда ты?

— При таком дожде мы такси не найдем — надеяться на чудо нечего. Выпей пока кофе в том баре. Я мигом обернусь.

Он еще не проглотил приставший к нёбу кусочек безвкусного печенья, когда сверкающий «супермирафиори» затормозил у входа в бар. Раздался приглушенный гудок клаксона, из-за стекла сверкнули озорные глаза — надо же, черт подери, да ведь это Гайолита! — обалдевший Хосечу наспех расплатился: «Сдачу оставь себе!» — и выскочил из бара кпя от возмущения.

— Ты как-нибудь доиграешься, ей-богу.

— Я? Как бы не так.

— Зачем нам этот катафалк?

— Ба! Имеет женщина право на каприз или нет?

Свое новое приобретение они бросили квартала за два до

особняка, в котором должно было состояться совещание, и побежали к нему под дождем. «Посмотри, какой шик», — вырвалось у Гайолиты при виде роскошного подъезда, отделанного мрамором, античных — под помпейские — ваз у входа. Вестибюль был устлан гранатовым ковром вроде тех, что красуются в венских опереттах, а в самой глубине вестибюля возвышалась внушительная громада лифта.

— Интересно, что это за дружок такой у Пападока? — сказала Гайола, отряхивая от дождя юбку.

— Видно, в деле замешаны высокие круги. Только неизвестно, чем все это кончится.

— А мы пока будем вкалывать на них — и ты, и я. Ну не болваны ли мы?

— Похоже, что так.

Дверь открыл Усатый.

Гайолита, с притворным смирением разведя руками, вздохнула:

— Разве могло быть иначе! Уверена, что, когда я умру и постучусь во врата небесные, именно ты встретишь меня у входа.

— А не святой Петр?

— Святой Петр пусть тебя встречает, цыган.

Пападок сидел за огромным столом, достойным министерского кабинета, аляповато разукрашенным позолотой и безвкусной резьбой. Справа от него Зин читал какие-то напечатанные на машинке листки. Тут же находились Микель и некий Сантамария, человек с лицом стервятника, почуявшего запах свежего мяса.

— Сантамария — из группы «Чикаго», — объяснил им Пападок, — той самой, что разгромили во время операции «Мост».

— Единственный, кому удалось сохранить жизнь и вырваться из засады, — уточнил Микель. И тут же пояснил, что теперь ему поручена координация действий по ликвидации Вильякорты. — Исполнителями назначены ты и ты, — кивнул он Хосечу и Зину.

— А остальные, Гайола и ты, Усатый, будете прикрывать их отход к зоне, где будут располагаться группы поддержки.

— Если каждый точно выполнит, что приказано, работа будет несложной, — вмешался Сантамария.

— День назначен? — спросил Хосечу.

— На этой неделе. Позже сообщу.

Затем Сантамария изложил план операции, и они тут же приступили к разбору его в деталях. Для того чтобы попасть в резиденцию генерала, расположенную на тихой улочке в богатом квартале, машина Вильякорты, с шофером-солдатом, должна была сначала развернуться под прямым углом. Суть дела заключалась в том, чтобы использовать момент, когда машина начинает разворачиваться, чтобы въехать в ворота парка, окружающего особняк.

— В этот момент машина практически останавливается, — объяснил Сантамария, — поэтому легко целиться. Один из вас выйдет на дорогу и будет стрелять. Имейте в виду, что к тому же машина идет на подъем, он довольно крутой. Охраны при ней, можно считать, нет. Там только парень, что за рулем сидит, иногда телохранитель, как правило, он клюет носом на заднем сиденье. Да его наверняка не будет.

— Ты имеешь в виду подполковника, который сопровождает генерала? — спросил Хосечу.

— Этот подполковник чаще дома сидит. Но все равно — его присутствие ничего не меняет.

Выйдя из особняка, Хосечу поделился впечатлениями с Зином.

— Как тебе этот Сантамария показался?

— О нем у Пападока надо спросить. Он его подключил к этой операции. Я его совсем не знаю.

— И как мы будем действовать?

— Если генерал не выйдет из машины, придется стрелять из автомата.

— А как же шофер?

Зин пожал плечами.

— Дикость какая-то! — возмутился Хосечу.

Зина словно прорвало:

— А разве не дикость — массированная бомбардировка мирных городов? Ты подумал об этом, Хосечу? Некий господин объявляет войну. Правда, господин этот — глава государства или увешанный побрякушками генерал, ему-то все позволено! Так вот, этот господин, будь то Наполеон, Гитлер или Кеннеди — все они одним миром мазаны, — оказывается, никакой дикости при этом не совершает, хотя и убивает миллионы человеческих существ. Неважно — виновны они или нет. Солдаты или мирные граждане. Ответственны за

происходящее или не имеют к нему отношения. Он набивает людьми тюрьмы и концлагеря, расстреливает, пытается, четвертует свои жертвы, издевается над половиной человечества, сравнивает с землей города, выжигает поля, а если разражается гражданская война, превращает свою страну в сплошные развалины, в могилы с лавровыми венками... Так что не будь таким щепетильным, Хосечу, или займись чем-нибудь другим. Открытки с изображениями святых малюй, к примеру.

— Согласен с тобой. Но только все выглядит иначе, когда приходится самому нажимать на курок. Особенно если, как в данном случае, нажимать буду я.

— Почему именно ты?

— Ну пусть ты — все равно это ничего не меняет.

Гайола, нервно лузгавшая семечки, решительно вмешалась в спор:

— Ладно, хватит, оставьте эти разговоры, перестань, Хосечу, потом доспорите, черт вас подери. Пошли, Хосечу. До скорого, Зин. И не кипятись ты, нет для этого особых причин. А тебя, малыш, я приглашаю ужинать. Тут есть одно хорошее место.

Она потянула его за собой, и они оба скрылись за завесой дождя.

*— Полиция просто хочет сбить нас с толку, ввести в заблуждение общественное мнение,— говорит Усатый, чувствует, что он растерян.— Ведь такой боевой группы, о которой сообщило радио, не существует. Это же яснее ясного.*

*Остальные молчат. Гайола прижимает к уху транзистор, Зин уходит в комнату, где стоит телефон.*

*Мы ждем еще несколько минут.*

*— Пападок по-прежнему не отвечает,— сообщает Зин, входя в столовую.— Уверен, его там нет. И все же думаю, что кому-то из нас следовало бы зайти к нему на квартиру — может, он записку оставил.*

*Зин и Микель смотрят друг на друга. «Я пойду?» — спрашивает Зин, и Микель глазами отвечает: «Да».*

*— Ну, раз так все обернулось, предлагаю отложить суд,— говорит Зин и вопросительно смотрит на Микеля. Тот пожимает плечами.*

*Но я чувствую, как брат сразу же расслабляется.*

— А что нам с этим делать? — спрашивает Усатый.

Микель: — Запри его в комнате. Но не забирай ключи. Положи вот сюда, чтоб нам знать, где они.

Однако в Усатом пробуждается подозрительность. «Я этой не доверяю», — говорит он, подбородком указывая на Гайолу. Та, не отнимая транзистора от уха, бросает: «Иди ты в задницу, цыган!»

Не скрывая злости, Усатый подталкивает меня к двери в комнату, раскрывает ее ударом ноги, и мы вваливаемся внутрь.

— Брось ты свои штучки, — говорю я, когда он достает наручники.

Мы обмениваемся взглядами, и он в бешенстве орет:

— Мне некогда, деточка!

Я сажусь на кровать и протягиваю левую руку, он наручником приковывает ее к раме железной сетки. Под взъерошенными усами Усатого я вижу звериный оскал зубов.

— Молись, детка, молись, все молитвы прочитай, какие знаешь, потому что, если с Пападоком что-нибудь случится, я тебя четвертую.

— Хватит меня пугать.

— Ты еще настоящего испуга не изведal, сосунок сраный.

— Иди ты к такой-то матери.

— Таких людей, как Пападок, во всем мире по пальцам пересчитать можно. А ты кто? Мразь, и больше ничего.

Повернувшись ко мне спиной, он бормочет:

— Если б ты знал, кто он на самом деле, давно бы в штаны наложил.

— Не так страшен черт, как его малюют, — дразню я Усатого и вызывающе гляжу на него. — И что ты в нем такого нашел, цыган? Ты перед ним просто млеешь, словно баба перед мужиком. Так что оставь меня в покое!

Усатый закрывает дверь и подсаживается ко мне на кровать. В его взгляде я читаю смертельную ненависть, даже от кожи его кисло разит отвращением ко мне. — Твой покорный слуга слишком хорошо знает Пападока, — говорит он, — и уверяю тебя, что ты и ноги ему мыть недостойн. Мы с ним вместе выросли, деточка. Мы — как родные братья. Ты знаешь, что имя его давно уже вычеркнуто из списка живых? Вот я тебя и спрашиваю: он жив? Или мертв? Но я тебе этого не скажу, говнюк. — Я вижу его улыбку. Жуткая гримаса.

Он рычит. Клыки его снова обнажаются. И тут до меня доходит, что он вовсе не пугает меня — просто он такой и есть — не человек, а зверь.— Мы исходили с ним все тропинки в горах. В наших горах! Которые враг хочет у нас отнять. Когда мы встретились, я пастухом был. Как-то он сказал мне: «Эулалио, у тебя настоящее сердце». С тех пор я всегда с ним, как верный пес. И чего я только не повидал рядом с Пападоком! Тебе такого никогда не увидать, сосунок, что я видел. Он одним взглядом может усмирить необъезженного скакуна. Ты знал об этом? И во всем мире у него друзья. И какие друзья, самого высокого полета. Но он все это похоронил, порвал с прошлым ради торжества нашего дела. Вот только я все себя спрашиваю: что он в тебе, в дряни такой, нашел, что из-за тебя под угрозу жизнь своих людей поставил? Но об этом мы еще поговорим. Клянись, мы с тобой еще потолкуем, слюнтяй, прежде чем я тебе шею сверну.

— Да ты просто свихнулся,— говорю я. И стараюсь поудобнее устроиться в постели, выглядеть совершенно невозмутимым.

— Мы с тобой еще потолкуем, я тебе говорю. А теперь меня одна работка ждет.

Усатый исчезает за дверью, а я пытаюсь разобраться в своих смутных мыслях и ощущениях. Папа Док, думаю я. Док — это ведь сокращенно доктор. Теперь я убежден, что у Пападока докторское звание. Доктор медицины? Или богословия? Ну и ну, думаешь, что ты все постиг, а оказывается, ты дурак дураком. Да и как иначе — нам ведь с детства мозги пудрят. Взрослые, учителя, все. Философия Пападока, как я понимаю, сводится к тому, чтобы извергать из себя ложь, лишь бы все катилось дальше, как он задумал. Мне вспоминаются уроки в школе, институт. Ну что за бред собачий нам в головы вбивали. Величие Родины! Какое там величие. Два-три безумца — вот оно, наше величие, и истинную правду об этом от нас всячески пытаются скрыть. Тот человек из Ламанчи, отчаявшиеся конкистадоры из Эстремадуры, Лопе де Агирре\*, бросивший вызов самому Господу,— эти действительно остались в людской памяти.

\* Испанский конкистадор, отказавшийся подчиняться королевской власти и прославившийся своей жестокостью.

*А Пападок? Вспомнит хоть кто-нибудь о нем через несколько лет?*

*В те дни, когда мы вместе жили на его квартире, он все просвещал меня, говорил и говорил без умолку. «Оставь сомнения. Будь всегда сосредоточен и спокоен. Делай свою работу без ненависти. Ненависть лишь пятнает человека. Держись свободно и раскованно. Одевайся так, чтобы не привлекать к себе внимание. Наблюдай за окружающим, но зря не глазей. Пусть твои мысли всегда будут ясными. Старайся не волноваться. Решай без спешки, но решай. Как только начинаешь тянуть, на тебя наваливается страх. Действовать надо быстро. Действуй, не размышляя попусту. Люди вроде тебя должны воплощать знание, обращенное в непрерывное действие, а не становиться застывшими в созерцании истуканами. Все время помни, что срок нашего пребывания на земле отмерен. Мы не вечны». Мысли свои он излагал легко и свободно, говорил четко и просто. И попадал в точку. Но только зачем именно на меня он тратил так много времени?*

*В квартире тихо. Судя по всему, все ушли, наверное, хотя бы выяснить, в чем дело — что это за акция против Вильякорты, вот и оставили меня одного. Жаль, что у меня нет под рукой бумаги и карандаша, набросал бы несколько слов Бегоньите. Хотя нет, не стоит. Слишком уж это мелодраматически будет выглядеть. Впрочем, я бы все-таки не сдержался, написал бы ей хоть несколько строк. «Бегонья,— написал бы я ей,— я потерял все то хорошее, что у меня было в жизни. И Бога потерял, а ведь я все время его искал, не понимая, что я ношу его в своей душе. Как и тебя, ты до сих пор в моей душе».*

*Звонит телефон. Кто-то снимает трубку — значит, я не один в квартире.*

*Дверь открывает Гайолита.*

*— Охраняешь меня? — спрашиваю я с подковыркой.*

*— Незачем тебя одного оставлять.*

*— Никак не пойму, как это они доверяют тебе охранять меня?*

*— А ключ-то от наручников они с собой взяли. От кровати тебе, как от верной жены, не оторваться.*

*И вдруг она начинает смеяться.*

*— С чего это ты так развеселилась?*

*— Да потому что дурочка я. Тебя к телефону зовут, а я совсем забыла, что тебя к кровати приковали, распяли,*

*словно Христа. Ты ведь подойти не можешь.*

*Я интересуюсь, кто меня спрашивает.*

*— Микель. Говорит, что это очень важно.*

*Мы взваливаем на себя железную раму и тащим в комнату, где стоит телефон. Я беру свободной рукой трубку, а Гайолита тактично удаляется. Глубоко вздохнув, я наконец решаю выдавить из себя: «Слушаю тебя, Микель...» После маленькой паузы я слышу: «Хосечу, это я, Бегонья...»*

*И после этого кто осмелится утверждать, что чудес на свете не бывает?*

Часовой отдал честь отъезжавшей от Военного губернаторства машине — черному «доджу» с двумя четырехконечными золотыми звездами на флажке. Автомобиль медленно проехал в нескольких метрах от Хосечу — он без труда различил сидевших на заднем сиденье двух офицеров. Затем «додж» набрал скорость и влился в густой поток, мчавшийся по забитой транспортом городской автомагистрали. Хосечу решительным шагом направился к телефонной будке, два раза подряд набирал условный номер и дважды клал трубку после третьего гудка.

Выйдя из кабины, он посмотрел на часы. Они показывали пять минут третьего. Затем остановил такси. Разглядывая в окно шумную ватагу школьников с разукрашенными прыщами юными лбами, а потом следя за молоденькой девушкой на высоких каблуках — не походка, а эротическая поэма, — Хосечу почувствовал, как исчезает напряжение, накопившееся во время долгого дежурства у здания Военного губернаторства.

Он приятно расслабился и протянул «Дукадос» пожилому таксисту, который оказался убежденным сторонником борьбы за экологию и к тому же свидетелем Иеговы.

— Жизнь — сокровище, дарованное нам Господом. Согласны?

— И тем не менее одни люди продолжают убивать других, словно мух.

Глядя на него в зеркало, таксист назидательно изрек:

— Кто-то на волю Антихриста выпустил, не иначе. Разве вы не видите, что вот-вот конец света настанет?

— Вполне возможно.

— Уж поверьте мне. Наступило время покаяния. Беда

в том, что люди живут, словно души лишились. Да им и подумать некогда. Нет у них времени Богу молиться.

Когда Хосечу вышел из такси возле бара, где его дожидалась Гайолита — он тут же различил за стеклом ее профиль, — настроение у него снова было испорчено.

Около двери он задержался на мгновение, быстро огляделся, прежде чем войти. Затем шагнул внутрь и уверенно пошел между двумя рядами столов.

Гайолита оторвала глаза от газеты.

— Чем-то ты сегодня расстроен, верно? — спросила она. А про себя подумала: «С парнем что-то происходит, сам на себя не похож».

— Все в порядке? — спросил он.

— Будто по расписанию. Вильякорта точен, как японские «Сейко». Ровно в два двадцать девять его «додж» притормозил вон там напротив. Простоял он ровно полминуты, если не меньше, — ровно столько, сколько понадобилось его адъютанту, чтобы вытянуться по стойке «смирно» на тротуаре возле дома. И что это за дурацкая манера у этих вояк то и дело вставать навтыжку, словно они штык проглотили?

Она показала на газету:

— Они прямо из себя выходят. Только за вчерашний день задержали четырнадцать подозреваемых, а сегодня с утра повсюду рыщут, новых хватают... хотят всем внушить, что теперь, когда они объединили командование всеми родами войск\*, с ними лучше не связываться. Что там с Зином?

— Не знаю. Думаю, он уже на месте. Я ему звякнул, как только «додж» Вильякорты появился. Два раза по три гудка.

Она взяла его ледяные пальцы и сжала их.

— Что-то с тобой происходит. — Она внимательно посмотрела на него.

Хосечу недовольно повел плечами.

— Куда мы идем, Гайолита?

— Перестань, малыш. Не заводи опять свою пластинку.

— Не нравится мне этот Сантамария. И Зин не нравится.

Никто мне не нравится. Все не нравится.

— Ну, привет, спасибо тебе большое.

— Ты мне только скажи: кто мы с тобой такие? Два призрака, сеющие смерть. Убиваем и исчезаем. Тщательно,

\* Во время кризисных ситуаций в Стране басков все виды войск подчинялись единому командованию.

вот как сейчас, готовим свой удар и при этом считаем, что делаем нечто совершенно необходимое, а между тем...

— Что между тем?

— Чем это кончится, как ты считаешь?

Чем это кончится? Гайолита не решается сказать ему, что кончится это автоматной очередью, которая прошьет их насквозь, или в лучшем случае тюремной камерой, где они сгниют заживо либо будут сохнуть, пока от старости кости не рассыплются.

— Доверься Пападоку — он знает, что делает.

— Я сыт по горло его доводами.

— Тогда отдохни. Уезжай куда-нибудь на время. Во Францию — туда, где живут баски\*. Подкадришь какую-нибудь молоденькую, выдавшую виды француженку, она тебя быстро вылечит, вернешься как новенький.

— Не в этом дело.

— Может, мне заменить тебя? Хочешь, я пойду с Зином? Мне-то ведь все равно.

Голос официанта, спросившего, что подать, вывел Хосечу из задумчивости.

— Пива, только похолодней.

Гайолита спрашивает:

— Отчего ты бороду не отпустишь? Красавец будешь всем на загляденье.

Она смеется:

— Эх, малыш, ну что за жизнь собачья. Несемса неведомо куда. Попали мы в темный туннель, любовь моя, и света в конце его не видать. Где они, зеленые луга, полевые маргаритки, где они, наши мечты, малыш, теперь осталось только ждать, когда косая за нами явится. Не повезло нам. Короткая выпала жизнь. Какая разница — годом раньше окочуримся или годом позже.

— Скажи, Гайола, а тебя совесть не мучит?

— Знаешь что, давай-ка выпьем пивка и — в постельку.

— Я серьезно.

— Если серьезно, то я знаю одно — пути нам назад нет. Никто не позволит. Ни наши, ни чужие. Тебе ясно?

— Совершенно ясно.

— Ну, тогда чего еще пожелает господин граф?

— Пошли отсюда.

\* Франкоязычные баски, живущие во Франции, в районе Пиренеев.

Она почти бежала за ним между двумя рядами столиков. — Да подожди ты, чудак, нам расплатиться надо. — Задержалась у стойки: — Сдачи не надо.

Когда она вышла на улицу, огорченная, размышляя над тем, как помочь Хосечу, он стоял на тротуаре словно изваяние. Напряженный, с искаженным страданием лицом, с растрепавшимися на ветру кудрями. Гайолита погрузила руку в карман его куртки, нащупала пальцы, твердые и холодные как лед. Они молча зашагали — ветер дул им в спину, юбка облепила ноги Гайолы, девушка шла, упрямо нагнув голову, как бычок, собирающийся ринуться на врага.

— Так больше нельзя, Хосечу.

— Тогда расскажи, как можно.

— Ты с Зином пойдешь?

— Зин — шакал. Он меня почему-то ненавидит, — сказал Хосечу, прибавив шаг.

— Да не думай ты о нем. Брось ты это.

— А такие друзья мы были. Словно братья.

— Знаю.

Гайолита сжала руку Хосечу и сказала сама себе: «Если ты, Господь, и правда существуешь, помоги ему».

Он поднял голову и улыбнулся ей.

— Мы, кажется, с дороги сбились. Куда это мы идем?

— Куда ветер несет.

*Если бы я мог с тобой поговорить спокойно, не по телефону, я бы тебе во всем признался. Да, именно тебе. Я бы тебе сказал всю правду. Мою правду, Бегоньита. Я бы сказал, что переполнен мыслями о тебе, что они, словно вода в сосуде, переливаются через край. Даже Родина, хотя она и священна для меня, не столь свята, как ты. Нет, это вовсе не значит, что я перестал верить в справедливость Революционной войны или, точнее, что я полностью перестал в нее верить. Я продолжаю в это верить, но без тебя эта вера теряет смысл, вся моя жизнь лишается смысла. И самое страшное — что ты никогда не будешь со мной. Ты не сможешь по-настоящему вернуться ко мне, хотя только что сказала по телефону, что готова это сделать. Ты не сможешь вернуться потому, что если в человеке, которого любишь, появляется что-то, что не нравится, что не принимаешь, то радость любви превращается в плач по ней. Наша любовь была бы безрадостной,*

а без радости любовь постепенно умирает. Я бы тщетно пытался стать таким, каким был прежде, а ты любила бы меня лишь из сострадания, желая помочь мне. Знаю, что если бы я в припадке безумия расстрелял половину человечества, ты бы и тогда, возможно, не отступилась от меня. Но ведь ты никогда не сможешь сделать это с бездумной верностью пса, спокойно глядящего на то, как его хозяин ножом приканчивает соседа,— ты ведь не родилась собакой. Мы с тобой отстали от поезда. Тебе невозможно вернуться ко мне, но ты должна знать, что душа моя обливается кровью, когда я отказываюсь от того, что ты мне только что предложила. Я не хочу, чтобы ты разделила ад, в котором живет моя душа.

К тому же есть и нечто более важное. Сознание греха. Ветовые запреты живут в нас, Бегоньита. А убивать — страшнейший из грехов, даже если человек и убивает во имя самых возвышенных принципов. Не убий. Заповедь эта неоспорима, она не допускает никаких толкований. Если бы ты знала, какие кошмары преследуют меня. Жара, ветер шевелит мои волосы, кровь бешено стучит в висках, «не желаете ли сфотографироваться, полковник?». Огромная чайка стремительно пикирует на меня, прижимает к земле, душит, я чувствую, как у меня перехватывает дыхание, я вот-вот умру, надгробной плитой давят на меня угрызения совести, надгробной плитой. Я вижу ее, эту плиту, на моих глазах она обрастает плющом, мгновенье становится вечностью. Кто спит вечным сном в этой могиле? Но покойник, оказывается, не спит, он жив, могила его не принимает, он мается, превратившись в стража собственных преступлений, ибо духу убийцы не дано вкусить покоя, ибо есть Бог, Бегоньита, который распорядился, чтобы было так. И ночью ты кричишь: «Нет мне покоя!», а крик твой замирает в груди, не может вырваться наружу, и с каждой секундой жизнь уходит от тебя, ты покрываешься предсмертным потом, а твое сердце камнем подступает к горлу. Ты просыпаешься, пытаешься прийти в себя, берешься за книгу, читаешь, вдыхая горький дым сигареты, но все напрасно — и тут тебя не отпускают ужасные видения, они встают с каждой прочитанной тобой страницы, возникают в каждой строке, рождаются в пробелах между строками.

А ведь мы не звери. Способны улыбнуться ребенку, подавая ему мячик. Нежны с женщиной, разделившей наше ло-

же. До нас доходит красота поэзии, холодок пробегает по коже при звуке хорошей музыки, мы искренне оплакиваем смерть товарища, щедро подаем милостыню и умеем утешать страждущего. Ты можешь такое понять, Бегонья? Ты хорошо знаешь Микеля. Мы ведь все вместе выросли — ты, он и я. Кто больше предан мне и тебе, чем он? Души в обоих не чаёт. Но он — один из «наших». Если бы ты видела, как он преображается, когда ему выпадает идти на дело, то ужаснулась бы. Я сразу же узнаю об этом, когда вижу его изменившийся взгляд. Он смотрит на тебя и словно не видит. Он где-то далеко-далеко. Это совсем не он. На лбу у него от отчаяния проступает вязкая слизь, нет, не пот, который появляется, когда выполняешь тяжелую физическую работу или в августе шагаешь под палящим солнцем. Нет, какая-то клейкая гадость. Поверь мне, так выходят наружу тоска и страх, гнетущие его. Одним словом, когда я вижу на лбу Микеля эту мерзость, то говорю себе: ну вот, опять. И безмерно страдаю, потому что он — мой брат, и я боюсь за его жизнь. Меня охватывает еще больший ужас, когда я вдруг задумываюсь о тех, в кого стреляю, под чью машину подкладываю взрывчатку, — ведь это тоже мои братья. Ты можешь понять это, Бегонья? Потом, когда дело сделано и я говорю с Микелем, я чувствую, что он расслабился, его «отпускает», как выражается Пападок. Глаза его снова меня видят, лоб становится сухим и чистым, Микель снова улыбается, в баре любезно пододвигает стул Гайолите, шутит с официантом. Словом, становится самим собою. Не знаю, как объяснить тебе, но, видя изо дня в день, как мы из зверей вдруг превращаемся в ангелов и наоборот, я никак не могу понять, что же с нами такое происходит. Нельзя же, говорю я себе, быть одновременно и зверем, и ангелом. Ведь одно из проявлений нашей сущности должно исключать другое, как бы уничтожать его. Это все равно что вырваться из ада и тут же начать карабкаться по лестнице Иакова\*, сделать попытку пробиться из адского пламени в иные пределы. Может, милость Господня простирается столь далеко, что сохраняется хоть лучик надежды даже для самого закоренелого убийцы. Не могу сказать.

Зина ты тоже знаешь давно. Но с ним дело обстоит совсем

\* Привидевшаяся древнееврейскому патриарху Иакову во сне лестница, стоя на которой Господь разговаривал с ним. (Библия. Ветхий завет.)

иначе. Он очень переменился, Бегоньита. Так весь и источает ненависть. Меня, во всяком случае, он ненавидит. Может, ревнует Пападока ко мне? Но Зин ведь не так примитивен, как Усатый. То, что движет Зином, намного глубже и серьезнее. И это совсем новое в нем. Вначале, когда я только что попал в группу, он не был таким. Он стал безжалостен ко всем. Заметь — не только к врагам, что можно было бы как-то объяснить. Что с ним происходит, трудно понять. Разве что в той дьявольской борьбе между звериным и человеческим началом в нас первое полностью взяло верх в Зине. Если мы все еще сохранили способность улыбаться, то с его лица улыбка исчезла навсегда. Он думает только об одном — стрелять. Убивая, он испытывает удовольствие, Бегонья. Могла ли ты представить себе, что с ним произойдет что-либо подобное?

Был еще с нами один, звали его Бургете, его убили жандармы. Был он человек примитивный и недалекий, думал только о женщинах — чем больше удастся затащить в постель, тем лучше. Он прямо так жил ради секса, хотя в то же время, похоже, испытывал к нему отвращение. Но ему и в голову не приходила мысль заплатить женщине с панели — он старался понравиться ей, соблазнить ее. Никогда Бургете не пытался иметь дело с приличной женщиной. Тянуло его почему-то только к последним шлюхам. И когда ему удавалось добиться расположения очередной потаскухи, он тратил на нее все деньги, что имел при себе. При этом чувствовал себя на вершине блаженства. И в то же время, представь себе, он обожал детей. Карманы его всегда были набиты конфетами и леденцами, он покупал их пригоршнями и раздавал детям. Подумать только, этот неотесанный грубиян прямо млеет от удовольствия при виде ребенка. Как-то он мне признался в этой своей слабости, на самом деле одной из немногих его добродетелей, объясняя ее тем, что ему самому в детстве никогда ничего не дарили. Даже самого дешевого леденца.

И еще я хочу рассказать тебе о Гайолите. Она крепкая, полнотелая, мускулистая — не поймешь, красивая или нет. Но молодость и жизненная сила так и бьют из нее. В постели с ней не соскучишься. Теперь, когда все так сложилось, после всего, что нам с тобою суждено было пережить, я могу сказать тебе это. В любви она неутомима.

Ненасытная, чувственная, изобретательная. Но вообще-то она относится ко мне по-матерински, «малыш, тебе побольше витаминов надо». Есть в ней, правда, одна неприятная черточка. Все время лужгает семечки, похоже, даже во сне. А в остальном все у нее в норме. Ее возлюбленного — молодого, здорового парня — убили во время боевой операции, мне кажется, она и в постели его не забывает. Гайола мстит за него и часто пускает в ход «гармошку». Так она называет автомат. Когда она берет его в руки, то превращается в тигрицу. Но в отличие от Зина, у которого руки так и дрожат от желания нажать на спусковой крючок, она очень уважительно относится к тем, кого держит на мушке. Гайолита никогда не сделает лишнего выстрела по своей прихоти. Нужно сказать — Гайолиту совсем не пугает, что ее могут убить. Но вот чего она действительно боится, так это тюрьмы. Она мне много раз говорила, чтобы я, если ее тяжело ранят во время операции или еще где, обязательно добил ее. Ты сама понимаешь, что я на это не способен, но мне пришлось дать ей такое обещание — она умоляла меня со слезами на глазах.

На этом месте мой внутренний монолог прервал голос Микеля за стенкой. Взвалив на себя железную раму с пружинной сеткой, к которой я прикован, волочу ее к двери.

— Микель! — кричу я. — Ты мне должен рассказать, что с Бегоньитой.

Раскрыв дверь, он с изумлением смотрит на меня.

— Что ты тут делаешь с этой штуковиной на горбу?

Гайола, глядя на меня через плечо Микеля, говорит ему:

— А как иначе он смог бы добраться до телефона в той комнате?

Тут мой брат — а он настоящий силач, — не долго думая, хватает сетку и тащит ее на место, вместе со мной, разумеется. Когда я усаживаюсь на постели, Гайолита замечает, что на руке под наручником у меня содрана кожа.

— Ну и скотина ты бесчувственная! — говорит она Микелю и добавляет: — Схожу-ка за спиртом.

Микель внимательно смотрит на нее, пока она выходит из комнаты, — я понимаю, что он избегает моего взгляда.

Я спрашиваю, что ему сказала Бегонья.

— Разве ты с ней сам не говорил?

— Я только почувствовал, что с ней что-то творится.

— У нее, кажется, не все ладится,— говорит Микель уклончиво.

— Меня не интересует, ладится у нее или нет, мне нужно точно знать, что с ней происходит, почему она решила бросить Иньяки и вернуться ко мне.

Гайолита входит, в руках у нее клочок ваты, пропитанный спиртом. Она аккуратно укладывает его между моим запястьем и наручником.

— Постарайся не двигать рукой,— говорит она. Потом вытирает у меня пот со лба.

— Почему Бегоньита вдруг решила вернуться ко мне, Микель?

Гайолита: — Хотите, я выйду?

Я удерживаю ее.

— Остайся здесь,— говорю я, а Микель тупо смотрит на нас.

— Она их не выносит,— говорит он, немного помолчав.— Ей очень плохо.

— Кого это — их?

— Своего мужа и еще...

— Кого еще? Говори же, черт тебя побери!

— Зина.

Я молчу, сбитый с толку. Гайолита смотрит на меня. Ей не по себе.

— При чем тут Зин?

Микель встает и, заложив руки за спину, принимается ходить из угла в угол. Я смотрю на него, а Гайола гладит меня по голове. Я резко стряхиваю ее руку.

— Так скажешь ты наконец, в чем дело?

Микель молчит. Теперь он повернулся спиной ко мне, и я вижу, как он крепко-накрепко сжал кулаки — его стальные пальцы от усилия покраснели, кажется, кровь на них вот-вот проступит сквозь кожу.

— Зин в нее влюбился.

— В кого, в Бегоньиту?

Гайолита лицом утыкается мне в грудь. «Да не слушай ты его»,— тихо шепчет она. Потом вдруг вскакивает и кричит, вплотную подступив к Микелю: — И не стыдно тебе всякие сплетни распускать, ты что, старая бабка, что ли? Не похоже это на тебя, Микель!

У брата дрожат губы.

— Она сама мне это рассказала. Говорит, что Зин в последнее время совсем с ума сошел. Угрожает ей. Звонит по телефону. Поначалу просто заходил к ней, вроде как по-родственному, он же ей деверь, ну и... Но кончилось все тем, что стал делать ей всякие предложения.

Я чувствую, как голова у меня кругом идет. Неужто проклятый Зин оказался таким отъявленным мерзавцем? Клянусь матерью, я убью его.

— Она сама тебе это рассказала?

— А кто же еще? Поэтому я и набрал номер, дал ей с тобой по телефону поговорить.

— Продолжай. Расскажи все.

Гайола вмешивается:

— Не надо, Микель. Будь человеком.

— Замолчи! А ты, раз уж начал, говори до конца. С чего это она тебе все это вдруг рассказала?

— Я пошел к ней сообщить, что ты попал в беду, что тебе грозит опасность. А она все и без меня знает.

— Что она знает?

— Чем ты занимаешься. Все. Она поняла, почему ты так грубо с ней порвал. Говорит, если бы ты ей правду сказал, она бы за тобой пошла.

— Она?

— Ну да. Так мне и заявила.

— А про Зина что она еще сказала? Уверен — не только то, что ты мне сейчас сообщил.

— Он пытался овладеть ею силой, но отступился — она сказала ему в лицо, что ее от него тошнит. И от его брата тоже, оба ей омерзительны. И еще сказала, что вышла замуж за Иньяки от отчаяния, глубоко презирая его.

В голове у меня — оглушительный барабанный бой... Я вскакиваю и ору что-то нечленораздельное вне себя от ярости. Гайолита бросается ко мне, пытаюсь остановить: «Нет, Хосечу, не надо!» — но я отшвыриваю ее от себя и устремляюсь к двери, таща на себе раму. Там меня останавливает Микель. «Ты же руку ломаешь, Хосечу!» — кричит он.

От резкой боли в локте я теряю сознание.

Он добрался до квартиры Пападока, пряча лицо от пронзительно-холодного ночного ветра. Пападок сидел за кни-

гой, ее освещал слабый свет ночника. Тихо звучала музыка Баха. Электрокамин с вентилятором раскалился докрасна, тепло от него приятно ласкало лицо Хосечу, одеревеневшее на ледяном ветре. В глазах Пападока удивление: «Это ты?» Он сразу насторожился, словно почувствовал опасность. «Что-нибудь случилось?»

— Нет. Просто мне хотелось поговорить с тобой. Я тебе не очень помешал?

— Нисколько.

Пападока в этот момент от других смертных отличала лишь крупная голова с седоватыми, коротко подстриженными волосами. Одет он был по-домашнему: старый свитер фабричного производства, горло укутано маленьким теплым шарфом, на ногах домашние тапочки с фланелевым в клетку верхом. Он оживленно засуетился с радостным видом холостяка, которому неожиданно нанесли приятный визит. Ничего героического в нем не было.

— Включу-ка я верхний свет.

— Если из-за меня, то не надо.

До прихода Хосечу Пападок читал Горация.

— Вообще-то,— улыбнулся он,— Горация гораздо приятнее читать у печки, когда в ней весело трещат поленья, но и у электрокамина неплохо... Согласен?

Хосечу садится в уютное кресло-качалку «Кеннеди», с пуховой подушкой, согревающей поясницу, располагающее к разговорам по душам. Но Хосечу ощущает какое-то смутное беспокойство. Он не знает, с чего начать.

— У тебя тут все очень переменялось.

— Ты находишь?

— Очень уютно стало. Может, потому, что электрокамин появился.

Перед ним сидел один из главарей Организации, за которым особенно упорно охотились власти, но Хосечу казалось, что Пападок похож сейчас на самого заурядного клерка, ничем не примечательного обывателя, у которого главная забота — как-нибудь убить время до наступления ужина. Хосечу подумал, что для полноты картины не хватает лишь включенного телевизора.

— У тебя ко мне дело? — спросил Пападок.

— Я по поводу Зина. И не только это, конечно.

Пападок был явно заинтригован, его жесткий взгляд

требовал: «Выкладывай, что там стряслось с Зином?» И в то же время предупреждал: «Тщательно выбирай слова, думай, прежде чем скажешь, Зин проверен на деле, незаменимый боевик — он доказал это намного раньше, чем ты».

— Ну так что там с Зином?

— Он меняется прямо на глазах.

— Выкладывай все до конца.

— Он стал слишком жестоким. Словно утерять все человеческие чувства. Меня это беспокоит, тем более что нам предстоит вместе участвовать в операции...

Хосечу заколебался. Боялся, что, облекая мысль в слова, он затемнит ее, не сумеет точно выразить. С другой стороны, его тревожило выражение глаз Пападока, в которых читалось: «Не хватало только возвышенных речей об угрызениях совести — как раз сейчас, когда столько наших товарищей страдают в тюрьмах».

— Ну и что дальше? Говори, Хосечу.

— Я про генерала Вильякорту,— выговорил он наконец. И глубоко вздохнул, прежде чем продолжить.— Я бы хотел эту операцию провести по-другому.

— Ты считаешь, что Зин проявит излишнюю жестокость?

— Ну не совсем так.

— Так в чем дело?

— Он решил стрелять из автомата очередями, а генерала можно застрелить просто из пистолета.

— И все же придется стрелять из автомата. Если враг находится в автомобиле, иного решения быть не может. Или автомат, или взрывчатка, другого выхода нет.

И ты знаешь, безмолвно говорили глаза Пападока, прекрасно знаешь, что может произойти, если стреляешь из пистолета не наверняка, если твоя цель — всего лишь тень за мерцающим стеклом, а сам ты стоишь на мостовой, в то время как твой враг сидит в автомобиле и ему легче маневрировать. Ты знаешь, что если промахнешься — а это вполне возможно,— то останешься один посреди улицы, беззащитный и раздавленный неудачей, превратишься в легкую добычу для тех, кто сидит в машине, а они все хорошо вооружены, так что нетрудно себе представить, что за этим последует.

— Значит, ты сам приказал действовать именно так?

— В таком приказе и нужды нет. Зин знает, как следует

поступать в подобных случаях. И ты это знаешь.

— Но за рулем сидит солдат. Он-то в чем виноват?

— Мы находимся в состоянии войны. И этот солдат не должен вызывать у нас сострадания — он выполняет свой долг, а мы выполняем свой. Наверняка в бардачке у него пистолет лежит. Думаешь, он станет колебаться, если ему представится возможность разрядить его в тебя?

— Могу сказать только, что мне не нравится зря убивать.

— Это всем не нравится. Всем нормальным людям.

— К тому же это подрывает нашу репутацию. Ты же знаешь, как потом бывает. Тут же поднимают шум пресса, радио, телевидение. Нашим врагам это только на руку. Сыплются заявления лидеров политических партий — мадридских и местных. Я считаю, что это только вредит нам.

Пападок встал и бережно положил том Горация на небольшую деревянную этажерку, казалось, не обратив особого внимания на слова Хосечу. Потом повернулся и, засунув руки в карманы брюк, застыл перед ним. Весь его вид — поворот головы, заметное дрожание жилки на шее, крепко сжатые челюсти — выражал еле сдерживаемую досаду, он словно говорил: «Что за бред ты несешь».

— Могу и без тебя обойтись, — сказал он. И добавил: — Иногда в нас вдруг ломается какая-то тайная пружина, случается и такое. Мы же люди, не роботы. Что ж, если ты не в форме, можешь перейти в группу поддержки.

— Нет, не надо.

— Почему?

— Эта работа поручена мне, а чувствую я себя нормально. Поверь мне. Я говорил все это потому...

— Говорил ты это потому, что на протяжении нескольких дней наблюдал за солдатом. Ты столько на него глядел, что он тебе теперь как свой стал. Уверен, ты представил себе всю его жизнь: сын приличных родителей, со связями, папа дружит с генералом, просил за сына. Генерал ему ответил: «Присылай его сюда. Он водить умеет? Будет служить при мне». Уверен, ты даже подумал о его невесте, блондинке, которая дни считает, ждет не дождется, когда жениха на Рождество на побывку отпустят. Разве не так?

— Бог вас знает, что вы за люди такие.

— Не поминай Бога всеу!

«Что это с ним?» — спрашивал себя Хосечу, вглядываясь в Пападока, который опустил глаза, внимательно рассматривая носки домашних туфель.

— Извини,— выдавил тот.— Ты выбил меня из колеи своими разговорами. Только и всего. К тому же мне не нравится, когда люди ни с того ни с сего поминают Бога. Не надо Бога в наши дела вмешивать. У нас с ним разные заботы.

Пападок ушел в спальню, затем вернулся — в ботинках, одетый для выхода на улицу. Он бросил Хосечу его куртку: «Пойдем-ка со мной!» Они спустились по узенькой лестнице, Пападок — впереди, подняв воротник пальто, Хосечу позади — с трудом поспевая за ним. «Ну и проворный старикан, можно подумать, ему лет двадцать. И куда это он меня ведет?»

Пока они шагали по темным улицам, Хосечу вдруг почувствовал себя виноватым: «Не имеешь ты права выступать в роли судьи, болван, он лучше тебя во всем разбирается, а если у тебя душа ушла в пятки, то так и скажи». Но произнес вслух другое:

— Не переносу, когда приходится убивать, глядя жертве в глаза.

И в который раз, волнуясь и путаясь в словах, принялся рассказывать про чайку, которая появилась, когда он выстрелил в Санромана: «Представляешь? Каждый раз, когда мне приходится с глазу на глаз стрелять в людей, мне кажется, что проклятая чайка снова появляется... И ничего с собой не могу поделывать. Что ты думаешь об этом?»

— Ничего. Мое мнение в данном случае не имеет значения.

— Стоит мне вспомнить такое, как я просто заболеваю. Даже дышать становится больно.

Он старался не отстать от Пападока, все ускорявшего шаги. «И куда это он так несется?»

— Но мне хотелось бы знать, что ты об этом думаешь.

На улице былолюдно, до него доносились обрывки чужих разговоров, чей-то смех. Из распахнутых дверей таверны, забитой работягами, вырывался шум, люди продолжали жить, надеялись, что наступит день, все переменится, у них будет дом — полная чаша; промелькнула светящаяся

надпись «С Рождеством», от которой ему вдруг стало грустно. «Ну что ты все-таки думаешь, Пападок?» — спрашивал он, но тот не отвечал, словно Хосечу не было рядом, все бежал, почти летел (как чайка), а на углу двое пьяных обнимались посреди лужи, один из них мычал: «Вот увидишь, «Батис»\* со счетом два-один выиграет, помяни мое слово».

Они свернули в темную улочку. Пападок по-прежнему торопливо шагал рядом, не произнося ни слова, будто разом оглох и онемел. «Может, он просто хочет прикончить меня?» Неожиданно они оказались перед небольшой, обитой желтым металлом дверью с круглыми шляпками гвоздей, поднялись по двум разрушенным временем ступенькам, и на Хосечу пахнуло знакомым с детства запахом.

Пападок улыбнулся:

— Все, что ты хочешь мне сказать, поведай Ему.

Это была скромная церковка, из полутьмы доносился чей-то надрывный кашель. Хосечу остался стоять один против дарохранительницы, а Пападок преклонил колени перед исповедальней из некрашеного дерева.

Было холодно как в склепе.

*Зин — в мокрых плавках и страшно худой. Кожа да кости. Лицо его от холода посинело, из носа течет. «Ты в сосульку превратился, Зин», — подзуживаю я его, сам я тоже в плавках и прыгаю на песке, стараясь согреться. Мы совсем одни на бесконечном пляже. «Куда делись все обитатели Земли, Зин?» А он приближается ко мне, соорудив рожу, как у Франкенштейна, это у него всегда здорово получается, на широко растопыренных пальцах словно выросли звериные когти. «Сейчас я тебя разорву на куски, Хосе», — говорит он и придвигается все ближе, ближе. «Ну хватит, Зин, когда ты такой, я и вправду пугаюсь, ты — настоящее страшилище», а он не унимается, закусил палку зубами, концы изо рта торчат, глаза скошены к переносице, голова мотается из стороны в сторону, как у бесноватого. «Украду у тебя Бегоньиту», — пугает он, а я бегу от него. «Да ведь ты же сам говорил, что Бегоньита некрасивая, одни кости, еще более тощая, чем ты сам, даже задницы*

\* Футбольная команда первой лиги из Севильи, столицы Андалусии.

Очевидно, говорящий — андалусец, приехавший на заработки.

у нее нет»,— кричу я, а он не отстает, бежит за мной по пляжу, и над ним — тучи чаек. Зин уже дышит мне в затылок, я слышу его рычанье и все бегу, бегу, чувствую, как уже в боку закололо. «Не могу больше, Зин, хватит!» И мы оба, хохоча, падаем на матрас, настало время сиесты, мы — у меня дома. «Спать! Спать пора!» — строго говорит нам мама, но у нас сна ни в одном глазу, мы все болтаем, болтаем, остановиться не можем. «Я буду человеком со шрамом,— говорит Зин,— очередями буду косить людей, развезжать на черной машине, огромной, как трансатлантический лайнер, в ней будет полно автоматов, тра-та-та-та...» А я ему: «Наш ризничий собирает снимки с голыми женщинами, но и это меньший грех, чем расстреливать людей из автомата, тебя белая чайка увидит, Зин». А Зин, расстегивая штаны: «Посмотри, что у меня тут,— я мужик почище тебя, гляди». — «Зин, послушай меня, чайка — это особый знак, это как знамение Господне, спроси у Пападока, он все знает». — «Оставь ты Пападока,— говорит он,— он просто чокнутый, утверждает, будто он Капитан Труено, все врет, Капитана Труено вообще на свете не существует, ты только посмотри, Хосечу, погляди же...» — и я вижу, как он начинает подпрыгивать на матрасе и при каждом прыжке кричит: «Выше! Выше!» И вдруг, подпрыгнув в последний раз и будто став невесомым, взмывает вверх, двигая ногами и руками, словно плывет, вот он долетел до самых облаков, превратился в крохотную точку. «Зин, где ты, Зин!»

— Перестань о Зине думать, малыш,— говорит мне сидящая рядом Гайолита.

Я осматриваюсь: где я? что со мной? А Гайолита рассказывает: «Ты так разгорячился, что вскочил с кровати, а ты ведь прикован к железной раме, вот и вывихнул себе локоть».

Лицо Гайолиты залито слезами.

— Микель вправил тебе локоть, а ты сознание потерял. Вот что с тобой произошло.

Я смотрю на свою руку, она тупо болит. Локоть почернел и раздулся.

— А Микель где?

— Здесь. Слушает по радио, как полицейские между со-

бой переговариваются, все пытается что-нибудь про Вильякорту узнать.

— И зачем мы все это делаем?

Гайолита целует мои глаза. Губы ее скользят по моему лицу — от лба до шеи. «Мы ведь сражаемся,— тихо говорит она,— чтобы разрушить старое общество — мы должны преобразовать мир».

— Но мы же всех ненавидим.

— Без ненависти нельзя.

— Ненависть ни к чему не ведет.

— Ведет, Хосечу! Без ненависти мы не смогли бы продолжать наше дело. Это как мотор, наш мотор. Мы не можем обойтись без нее. Должны беречь ее в себе, иначе нам не добиться победы в этой войне.

— Но я не в силах больше ненавидеть. Трудно объяснить почему, но не могу!

Теперь слезы струятся и по моему лицу. Они капают мне на грудь, заполняют горло, затуманивают глаза — синие цветочки обоев так и пляшут в них. Слезы обжигают мне кожу. «Как это слезы могут так сильно жечь?» — думаю я и тут же отвечаю себе, что, должно быть, они выжигают мое отчаяние.

— Что сейчас происходит?

Гайолита терпеливо объясняет мне. Кто-то застрелил Вильякорту, но неизвестно, кто именно. Вся полиция мобилизована на поиски какой-то боевой группы, но найти стрелявшего никак не может. Город вверх дном перевернут, арестовано около сотни человек. Нам бы сейчас следовало подальше убраться с этой квартиры, она небезопасна. Но раз уж так обернулось, то мы решили дожидаться здесь, хотя и рискуем,— ничего другого не остается.

— Это все из-за меня. Я во всем виноват.

— У нас просто нет иного выхода. Мы как в мышеловке. Вздумай мы сейчас отсюда выбраться, нам негде было бы укрыться.

— Случилось что-то еще?

— Куда-то исчез Зин. Он хотел показаться врачу — у него ведь рука ранена,— а потом должен был зайти на квартиру к Пападоку.

— А суд надо мной?

— Его отложили. Разве не помнишь?

— Меня казнят?

— Брось ты. Не думай об этом. Сейчас самое главное — сохранять спокойствие. Не нервничать.

Она всячески пытается меня успокоить:

— Все уладится, малыш, увидишь, все будет хорошо. Больше всего я Усатого боюсь,— говорит она.— Он тоже куда-то подевался. Скорее всего Пападока ищет.

— Короче говоря, хорошую свинью я вам подложил.

— Еще какую.

— Со мной всегда так, Гайолита. Ничего не могу с собой поделать. А что ты об этом Сантамарии думаешь? Мне он что-то не нравится.

— Может, это он всю кашу заварил.

— Не понимаю.

— Не исключено, что именно он застрелил генерала. Мы же ведь ничего не знаем. Но тебе лучше всего отдохнуть. Расслабиться как следует. Хочешь глотнуть чего-нибудь?

Я прошу ее принести мне воды. Гайолита советует мне не делать резких движений. Она выходит за водой. И тут же в комнату входит Микель.

— Болит все еще? — спрашивает он.

— Немножко.

— Я тебе впрыснул лошадиную дозу болеутоляющего. Вдруг меня охватывает страх. Я забываю о Санромане, о том, что я натворил. Думаю только о себе.

— Что вы со мной сделаете, Микель?

— Ты лучше молись, чтобы с Пападоком ничего не случилось.

— Почему ты так говоришь?

— Потому что он единственный, кто для тебя может что-то сделать. От остальных ничего хорошего не жди. Они в ярости. Правда, я не знаю, что они решат. Не исключено, что выбросят тебя на улицу, чтобы ты сам спасал свою жизнь... от полицейских или...

— Или от тех, кому поручат казнить меня. Это ты хотел сказать?

— Да.

Я не унимаюсь: «А что еще могут со мной сделать?» Микель поворачивается ко мне спиной.

— Прикончить,— говорит он.

Прикончить — это значит, что меня выведут отсюда куда-

нибудь подальше, а потом бросят под забором с пулей в затылке.

Гайолита входит со стаканом воды и с транзистором. «Помолчите»,— говорит она и кладет приемник на стул. «...тот факт, что между Марией Москосо и Бургете, членом ЭТА, убитым полицией, существовали интимные отношения, дает основание предполагать, что зверское убийство молодой девушки — дело рук членов этой организации».

Гайолита восклицает:

— Усатый. Его работа.

Микель соглашается: похоже на Усатого — его почерк. Транзистор продолжает сообщать: «Резиденция генерала Вильякорты окружена («В добрый час»,— замечает Гайолита, вытирая губы), и все силы охраны общественного порядка интенсивно расследуют обстоятельства дела, а также принимаются срочные меры по розыску лиц, причастных к этому злодейскому убийству. Задержано двадцать три человека...»

— Выключи,— говорю я. И Микель выключает транзистор.

Когда Гайолита выходит, я спрашиваю у Микеля, где его пушка.

— Зачем она тебе?

— Есть еще один вариант. Разве ты об этом выходе не подумал?

— Не будь скотиной, Хосечу!

Я признаюсь ему в своих подозрениях:

— В какой-то момент мне в голову пришло, что ты специально выставляешь пушку передо мной, чтобы я выхватил ее и...

— И застрелился?

Покраснев от стыда, я киваю.

— Мы тут все с ума посходили, Хосечу. Вот в чем дело. Считаю, что я твоих слов не слышал.

Он очень серьезно смотрит на меня.

— Хочешь бежать? Позже такой возможности не представится.

— А как же ты? Они обвинят тебя.

Микель пожимает плечами.

Стоя перед дарохранительницей, он припомнил те давние

времена, когда мальчиком был служкой в церкви, по мелочи, как и остальные, прикарманивал монетки из кружки с пожертвованиями прихожан, припомнил острую неприязнь к ризничему, исподтишка показывавшему им, мальчишкам, фотографии голых женщин: «Можешь посмотреть еще одну, последнюю, всего две песеты возьму — она из немецкого журнала, самый что ни на есть смак». Припомнились ему утренние мессы зимой, когда от каменных плит веяло ледяным холодом, а веки, словно на каждом по пятаку, неутомимо слипались. «Не спи, Хосечу», — говорил молодой викарий, а он со сна вместо “*Et cum spirita tuum*” тянул “*Deo gratias*”. Вспомнил он фарфоровые лица старушек, живописные фигуры прихожан, достойные кисти Соляны\*, — в их глазах отражался мерцающий свет свечей. Наконец наступал торжественный момент вознесения общей молитвы Господу. И начинался месяц Девы Марии, когда солнечная пыль висит в воздухе храма, загустевшем от жаркого дыхания прихожан, у тебя теснит грудь от смешанного запаха ладана, роз и ирисов, коленапреклоненные женщины отвешивают поклоны. «Ну и шикарная задница у этой Марии», — шепчет ему на ухо ризничий. И затем длящиеся по три дня богослужения, нескончаемые девятины, торжественные мессы по случаю Святой Недели, проповеди о том, как Христос спорил с фарисеями, потому что, по словам ризничего, он хотел устроить революцию. «Не заливай, Сиксто, — возражал Хосечу, — ты что, считаешь, что Христос коммунистом был?» Наконец иудеи распяли Христа на кресте, потому что они так и не поверили в его намерение изменить мир, однако Христу повезло — каждый год он на Рождество возрождался снова, и все вокруг пели «Мир в человецех», хотя на родине Хосечу, единственной, которую он знал и любил, не было мира, напротив, одни убивали других с кличем «*долой чужаков!*». «Общими усилиями, — думал теперь Хосечу, — возвели они ненависть на алтарь, где должна была бы царствовать любовь, подобно тому, как ризничий осквернил первоначальные устои моей веры». Но теперь-то Хосечу знал, что каналья ризничий не имел никакого отношения к Богу. Бог — это скрытый луч, помогающий найти дорогу в мире торгашей и политиканов, продажных душ и торговцев живым телом, скандальных

\* Испанский живописец начала XX века.

самоубийств и крупных афер; в царстве апостолов потребительского общества, возвещающих «купи или умри!», в этой мешанине фальшивых масок, лживых пророчеств, обманных проповедей и речей. Как ничтожна перед лицом Бога жажда власти, облаченная в одежды возвышенных помыслов и устремлений к благородным идеалам! Бог превыше всего, превыше жизни и смерти. Его охватило глубокое чувство тоски.

Он поискал взглядом Пападока, спрашивая себя, почему тот привел его в эту крошечную церковь. Видимо, и Пападок, если судить по выражению горечи на его лице, страдал, как и он, если не больше. Хосечу подумал, что и он, возможно, нуждается в утешении, здесь он надеется найти его. «Он так же одинок, как и я», — прошептал Хосечу. В сумраке придела он ждал, когда Пападок выйдет к нему.

Они зашагали к бару на углу дома, отсыревшего так, что отваливалась штукатурка. «Погодке этой конца не видать», — сказал Пападок, Хосечу промолчал, затем спросил, почему Пападок привел его в храм.

Тот ответил не глядя:

— А ты думал, что я тебя в театр поведу?

Он остановился прямо посреди лужи, оставшейся после дождя.

— Тебя ведь мучает совесть?

— Да.

— Куда же тебе в таком случае идти?

В баре к ним подошла астматическая толстуха с табачным лотком и предложила купить сигарет. Хосечу взял две пачки «Дукадос».

— Я такого и представить себе не мог, — обратился он к Пападоку с улыбкой, в которой грусть перемешалась с легким оттенком недоверия.

— Чего именно?

— Что ты веришь в Бога.

— Оставим это.

Пападок не спеша размешивал сахар в чашечке кофе. «Плохо ему сейчас», — подумал Хосечу, разглядывая глубокую поперечную морщину между бровями своего спутника. «Что это — знак сомнения или раскаяния? — спросил он себя и тут же ответил: — Нет, эта похожая на шрам морщина — знак одержимости».

Хосечу:

— Ты не возражаешь, если я сегодня останусь ночевать у тебя?

— Нет. Надеюсь, ты удовлетворишься фабадой\* из консервной банки?

Поймут ли их когда-нибудь вот эта толстуха, эти подвыпившие работяги, по виду в большинстве своем бывшие крестьяне, которые сейчас с аппетитом поглощали огромные блюда жаркого. Судя по тому, о чем они спорили с барменом за стойкой — не слишком ли постарел Ирибар\*\*, чтобы стоять в воротах, — их меньше всего заботила судьба Родины. Спортлото, футбол, нападки разъяренной жены, если они поздно возвращались домой, жалкий блуд и пошлые байки — вот что составляло их жизнь. «Городские наемные работники коррумпированы, — так бы объяснил Пападок, — они подражают мелким буржуа, верхом счастья им представляется дешевый автомобиль, а те, у кого он уже есть, думают лишь о том, как поменять его на лучшую модель». — «Ну, а крестьяне? — возразил бы ему Хосечу. — Крестьяне так же покорны, как и их коровы, довольствуются кучей кукурузных початков — больше им ничего не нужно. Задницы их прикипели к земле, а глаза устремлены в заоблачные дали. Запуганы до смерти. Забиты. При виде жандармской треуголки начинают дрожать. А о нас и говорить нечего. Нас они боятся больше чем чумы». Всеми этими мыслями Хосечу охотно поделился бы с Пападоком, а под конец бы спросил: «Стоит ли нам в таком случае продолжать?»

На квартире у Пападока, пока хозяин, вооружившись консервным ножом, сражался с банкой фабады, Хосечу попросил отстранить его от участия в завтрашнем деле. «Это не значит, что я отхожу от нашей борьбы, ничего подобного, — сказал он очень тихо, — просто не хочу участвовать в операции вместе с Зином».

Потом добавил, уже громче:

— Если хочешь, я все один сделаю.

— Я же сказал тебе, что это невозможно. В такого рода боевых операциях обязательно требуется по меньшей мере два человека.

— Тогда что делать?

\* Астурийское блюдо из бобов с мясом.

\*\* Испанский вратарь, популярный в 70-х годах.

— Что-нибудь постараюсь придумать.

Но Хосечу обратил внимание на то, что Пападок при этом отвел взгляд, а мышцы на руке заметно вздулись — с такой силой он нажимал на открывалку.

— А теперь давай ужинать,— сказал Пападок. И направился в кухню, такую крошечную, что ее и без того крупный хозяин выглядел в ней великаном. «Ну и спинаща у него»,— подумал Хосечу, раскладывая на столе две застиранные салфетки.

Пападок вернулся с двумя тарелками.

— Что ты имеешь против Зина?

— Ничего. Я тебе уже сказал. Мне не нравится его жестокость.

— Надеюсь, ничего личного.

— Абсолютно. Мы друзья. Только он очень изменился в последнее время.

— Такое порой случается. Но возможно, и ты забываешь, как безжалостны наши враги. В полицейских участках, Хосечу, пытаются, как и прежде. Ты сам это знаешь. Это знают все. Это отмечает и Эмнисти Интернэшнл. О том, что творится в тюрьмах, тебе тоже известно. Они забиты до отказа. Думаешь, нашим товарищам там сладко приходится?

— Все равно.

— Что все равно?

— В нашем деле нельзя достичь победы, действуя лишь методом вооруженной борьбы. Другие факторы более важны.

— Например?

— Моральная чистота, чистота побуждений. Это такие вещи, о которых нельзя забывать.

Они уселись за стол, и Пападок, аккуратно нарезая батон, процедил сквозь зубы: «Критикан».

— Народ не пойдет за нами,— сказал Хосечу.— Если мы не перестанем применять насилие или хотя бы не умерим его, ничего, кроме отвращения, мы у людей не вызовем. И если утверждать такую очевидную истину значит быть критиканом, пусть будет так. Тебе виднее.

Хосечу, с трудом прожевывая кусок сала, подумал: «Я рискую головой, но кто-то должен сказать ему правду».

— Мы вовсе не так незаменимы, как считаем, и без нас обойдутся,— тихо сказал он.

— Значит, ты полагаешь, что наша Организация уже не нужна.

— Я такого не говорил. Другое хочу сказать: Родина наша, страна, в которой мы живем, и без нас будет существовать, что бы там ни случилось. И в историю ее, если только мы будем и дальше действовать, как сейчас, мы войдем отнюдь не как рыцари без страха и упрека.

— Что же ты предлагаешь?

— Действовать новыми методами. Старые не годятся. Надо исходить из иных критериев, пересмотреть всю нашу воинствующую идеологию, перетрясти ее, очистить от фанатизма. Если мы это сделаем, молодежь последует за нами. Мы увлечем ее за собой.

Он говорил, а Пападок внимательно смотрел на него, весь напрягшись, не моргая, с вилкой в застывшей руке...

— И не надо забывать, что время работает против нас,— продолжал Хосечу.— Пропаганда против терроризма ведется на протяжении многих лет, и она начинает действовать на сознание представителей новых поколений. Есть и еще одно обстоятельство, о котором буру\*, кажется, забыл.

— Интересно, какое?

— Терроризм как социальный фактор просто-напросто стал надоедать людям. Он изживает себя, Пападок. Я имею в виду националистический терроризм, а не государственный в странах Южного конуса. Тот проживет дольше, у государства в руках танки и еще более мощное оружие — средства массовой информации.

— Ты знаешь, как я к тебе отношусь,— сказал Пападок, вставая из-за стола.— Ты мне с первого взгляда понравился, я уже говорил тебе об этом. Но ты слишком импульсивен. Хотя эта болезнь с годами проходит. И тем не менее...

— Тебе неприятны мои слова?

— Я удивлен. Я думал, что ты излечился от своей самоуверенности. Понял, что тебе еще многому предстоит научиться. Но, главное, ты не должен забывать, что любая твоя оплошность, любой промах, который ты допустишь, не осознавая всех его последствий, может всем нам очень дорого обойтись. И в первую очередь тебе же самому...

— Ну, может, я в чем-то и ошибаюсь,— согласился Хосечу.

\* Вождь, руководитель (баскск.).

— Хочешь, я назначу вместо тебя Усатого?

— А как он к этому отнесется?

— Не имеет значения. Он выполнит мой приказ. А ты продолжай вести наблюдение за зданием Военного губернаторства.

— В чем будет заключаться мое задание?

— Сообщишь нам, как только оттуда выедет машина Вильякорты. Все остальное пусть тебя не беспокоит...

«Легко сказать — пусть не беспокоит. Меня, Пападок, не должна, значит, беспокоить твоя железная непоколебимость, твое ослепление, твое упорное нежелание видеть, что народ, наш баскский народ, все больше начинает верить в путь демократии — трудный путь, согласен, в чем-то гораздо более трудный, чем путь насилия, крови, преступления. Меня, по-твоему, не должна беспокоить твоя незыблемая вера в силу страха, который ты продолжаешь сеять среди наших соотечественников. Но есть другая сила, гораздо большая, чем страх, эта сила — совесть. Даже если оставить в стороне вопросы стратегии — хотя и о них тоже можно было бы долго спорить, — что ты скажешь о страхе перед Богом? Вот твоя ахиллесова пята, Пападок. И я ощутил это, оказавшись с тобой в церкви. Когда ты стоял на коленях как человек, потерпевший поражение. Но ты был в этот момент человеком, Пападок, тем, кем ты сейчас отказываешься быть. Как мне жаль тебя, Пападок».

— Выпить я тебе предложить не могу, — извинился хозяин. И принялся убирать посуду со стола.

Хосечу последовал за ним на кухню.

— С каких пор ты в Организации?

— Очень давно.

— Может быть, слишком давно?

— Бывают такие ситуации, при которых время не существует.

Они молча мыли тарелки. А потом, расслабившись, как бывает после физической работы, беседовали почти до самого рассвета. Они напоминали двух изощренных фехтовальщиков, каждая реплика — точный удар рапиры. Пападок обратился к истории Организации, начал с самого ее основания: «Возникли мы в пятьдесят девятом году в знак протеста против политики правительства Мадрида, мы выражали боевой дух нашего народа, выдвигающего справед-

ливые требования и прежде всего требование о независимости. Тут, Хосечу, семантика очень важна, потому как независимость и сепаратизм — вещи совершенно разные, а нас пытаются обвинить в последнем, из-за чего этот вопрос вызывает так много недоразумений и непонимания, особенно между теми испанцами, что живут в Центральной зоне, и нами, так называемыми баско-испанцами. Мы сразу же подверглись жестоким репрессиям, но это только усилило наши ряды». Хосечу: «Тебе не кажется, что мы можем завести нашу страну в тупик нескончаемой кровавой междоусобицы, а она в конце концов приведет нашу Родину к полному разорению, к уничтожению накопленного веками богатства, ведь, помимо всего прочего, уже сейчас мы подрываем нашу экономику, и люди инстинктивно это чувствуют. Насилие порождает насилие, это спираль, ведущая к усилению экономического кризиса и безработицы,— словом, сказка про белого бычка». Пападок взрывается гневом: «Так пусть они уйдут отсюда, дадут нам возможность самим собой распоряжаться, создать свой парламент. Все тогда будет как надо!»

Хосечу:

— Ты в этом уверен?

— Более чем уверен. За это мы как раз и сражаемся.

— Давай-ка разберемся. Определим в двух словах задачи

Организации.

— Мы — революционеры, борющиеся с оружием в руках за независимость нашей Страны, за превращение ее в суверенное Государство.

— Независимое от Испании и от Франции?

— Безусловно. И не говори мне, что это утопия. Этого можно добиться! Более того — нужно добиться! У нас очень сильное левое движение абертцале\*, а молодежь нас поддерживает.

Но Хосечу улыбался в ответ, и его грустно-недоверчивая улыбка начинала действовать Пападоку на нервы.

— Что с тобой, Хосечу? Ты перестал верить в наше дело?

— Не о том речь. Все упирается в простой арифметический подсчет.

— Ну, выкладывай его.

— Сейчас, после стольких лет вооруженной борьбы, мно-

\* Борцы за свободу Родины (баскск.).

гие ли наши соотечественники готовы следовать за нами по пути насилия? Ты знаешь точное число? Знает ли его хоть кто-нибудь?

От жара, исходившего от электрокамина, лица их так и поыхали, а жар внутреннего убеждения придавал особую горячность словам. Пападок помотал головой.

— Нет, этого никто знать не может. И все же я уверен, что большинство с нами.

— А если это не так?

— Такое невозможно.

— Согласись, это смахивает на фанатизм. Может, ты мне объяснишь, почему такое невозможно? Иначе тебе придется признаться в догматическом подходе к проблеме. Или, скажем мягче, некритическом. Все это идет вразрез с марксистским социализмом. Думаю, тут и спорить не о чем.

— Тогда выкладывай свои аргументы.

— Они очень просты. Если молодежь отойдет от нас, а те, кто поддерживает Организацию, от нее отвернутся, нам впору закрывать лавочку.

И Хосечу добавляет, неожиданно вспыхнув: «Никак не могу объяснить себе, как такой человек, как ты, у которого здравый смысл просто в крови, может так рассуждать! Уж не замешан ли тут мистицизм?» А Пападок: «Спокойней, спокойней, Хосечу, дай мне сказать...» Но Хосечу не отступает: «Прости, я сказал, что не понимаю, как такой человек, как ты, досконально изучивший проблему, участник Революционной войны на всех ее этапах, да что там говорить, организатор ее, сподвижник буру, постоянно поддерживающий личный контакт с этим великим координатором, великим теоретиком, великим знатоком городской партизанской борьбы, блестящим организатором множества побегов из тюрем наших товарищей, а также многочисленных похищений наших врагов,— так вот, я не могу понять, как ты, у которого на плечах не голова, а компьютер ИБМ, не отдаешь себе отчета, какую угрозу для организации таит все растущее неприятие народом наших кровавых акций. Скажи мне теперь, что ты будешь делать, если все это выльется во всеобщую ненависть и отвращение к нам?»

— До такого никогда не дойдет.

— Приведи хоть один разумный довод в свою пользу.

— Оставим этот разговор. Так будет лучше.

— И все-таки ответь мне. Что ты станешь делать, если народ повернется к нам спиной?

Молчание. В тишине, нарушаемой лишь легким потрескиванием спирали в электрокаmine да хлопками-пощечинами ветра по окнам, звучит заключение Хосечу: «Я уже сейчас вижу твое будущее, Пападок. Вижу, как ты продолжаешь в одиночку подкладывать бомбы, хотя в этом уже нет никакого смысла. Как ты, словно волк, изгнанный из стаи, бешено кусаешь кого попало. Я вижу тебя последним эхом умолкнувшего насилия, одинокой тенью, бегущей неведомо куда».

— Все твои аргументы — ловкая демагогия, Хосечу.

— Ничего подобного. Я спросил тебя, что ты будешь делать, если баскский народ откажет нам в поддержке. Если, конечно, такая поддержка существовала когда-нибудь.

— Ну, не знаю.

— А я знаю. Ты превратишься в изгоя. В вечного, никому не нужного бунтовщика.

— Может быть.

Пападок встал и взял со стойки томик Горация. Кажется, он мигом забыл про спор, тянувшийся три часа. Три долгих, напряженных часа.

— На латыни читаешь? — спросил Хосечу.

— Гораций вкуснее в собственном соусе. Хороших переводов не существует. Правда, при переводе «Од» фрай Луис довольно точно передал мысли автора. Но «Сатиры» и «Эпистолы» лучше всего переведены Бартом. На немецкий, ясное дело.

Направляясь в спальню, Хосечу пожал плечами: «Латынь и немецкий. Чудо природы этот Пападок. Есть ли на свете что-нибудь, чего он не знает».

— Мне бы не хотелось тебя стеснять. Я могу поспать в этом кресле,— сказал он, выглянув из-за полуоткрытой двери.

— Я обычно не ложусь. Читаю тут. Или просто дремлю.

— Тогда до завтра.

— Отдыхай.

Но отдохнуть ему не удалось. В маленькой, без окон, комнате, стены которой были сплошь заставлены полками с книгами, он задыхался. И все время думал со страхом, не слишком ли далеко зашел в споре. «Но я не могу лгать этому

человеку,— повторял он снова и снова,— не могу его обманывать».

Было еще темно, когда он встал. Он увидел, что Пападок заснул в кресле, и накрыл его пледом. «Да поможет нам Бог»,— произнес он мысленно, направляясь к выходу.

На улице по-прежнему было ветрено и шел дождь.

*«Отказываюсь бежать, словно крыса»,— отвечаю я, и Микель оставляет меня одного. Рука моя болит, мысли в голове гудят, Пападок все никак не появляется, Усатый своими грязными делишками занимается, Зин, проклятый, где-то бродит, как шакал. Время от времени в моих ушах звучит голос Бегоньиты: «Микель сказал мне, что мы можем поговорить не больше минуты. Я хочу быть с тобой, Хосечу, я тебя люблю...» А что я мог ответить на ее слова, только плакать, как последний слюнтяй. Гайолита, стоявшая за спиной, торопила меня: «Бросай трубку, малыш, бросай скорее, полиция ведь все телефоны прослушивает, подумай о товарищах». Я положил трубку — не прошло и минуты. Не хочу, чтобы кто-то нас подслушал, узнал, что она меня любит, что мне приходится отказываться от нее. А Гайолита нервничала все больше и больше: «Давай-ка вернемся в комнату поскорее, я тебе помогу эту штуковину дотащить,— и она подхватила железную сетку,— не дай бог, зайвится Зин, этот пули для тебя не пожалеет». Заняться мне нечем. Разве только рассматривать носки ботинок, вытянувшись на постели в торжественной позе покойника, вспоминать что-нибудь связанное с Бегоньей, вроде того вечера, когда я издали видел ее в последний раз, давно уже это было, я сидел в машине «сеат-1400», которую Гайола где-то для меня позаимствовала,— с какой, однако, ловкостью она управляется с моторами, будь перед ней космическая ракета, она и с ней сладит не моргнув глазом,— ну вот, я сижу в машине и наблюдаю за Бегоньитой, она на школьном дворе, в окружении детей, похудевшая, побледневшая, совсем воздушная, а я страдаю от зависти к крохотной девочке с медовыми косами, которую Бегоньита, утешая, целует в лоб. «Какой же ты все-таки болван»,— говорю я себе, еле сдерживая непреодолимое желание подбежать к ней и обнять, и в бесильной ярости бью кулаками по рулю: сам виноват, что потерял ее навеки, идиот! Глаза мои наполняются влагой,*

кругом все заволакивается туманом, фигурка Бегоньиты расплывается, я с трудом различаю ее силуэт сквозь пелену непролитых слез. «А что,— думаю я,— если позвонить ей по телефону? Чего проще? В каждом автомате имеется телефонная книга, так что никаких проблем». Но тут же осаживаю себя: «Не будь скотиной, ты в такое дело ввязался, играешь с огнем, хватит дурака валять, думаешь, что жизнь — забава сплошная, а она тебя лицом в грязь, так тебе и надо». Я слышал далекие крики детей, игравших на школьном дворе, но не мог различить ее голос, хотя и отчетливо видел, как шевелились ее губы. Так я и сидел, глядя на нее и пытаюсь вспомнить звук ее голоса, когда вдруг рядом с машиной выросла монументальная фигура муниципального стражника, наблюдавшего за уличным движением: «Будьте любезны, проезжайте!» И тут на меня, в который раз, что-то нашло, словно бес вселился. «Заткнись, дерьмо собачье!» — заорал я, повернувшись к нему и исходя дикой злобой. Тот, оправившись от испуга, вернее, от неожиданности, снова потребовал: «Ваши документы!» «Сейчас я тебе покажу документы!» — крикнул я, выхватил из бардачка пушку и, не долго думая, вцепил ему пулю в лоб: «На, подавись, сволочь!» Остальное было делом одной минуты, я бросил за ближайшим углом «сеат-1400», вошел в телефонную будку, позвонил в редакцию газеты и сообщил, что полицейского убили боевики из ГРАПО\*... А за этим — лавина глупейших сообщений в печати и по радио, обычные тысяча и одна версия полиции. Но я и не думал тогда, какой опасности подвергаю своих товарищей, не понимал, что, сам того не замечая, становлюсь подонком...

Вот я дремлю в лавке сеньоры Кончи, торгующей лекарственными травами,— там царит тишина, прохладно, в полудреме я слышу, как мать говорит: «Мы отдадим его в служки в приходскую церковь Святого Христа». И снова, как тогда в детстве, мне будто щекочет кожу мирное позвякивание спиц сидящей рядом сеньоры Кончи,— она давно парализована, лицо у нее пухлое и расплывшееся, похожее на недопеченный хлеб. «Так ведь многие святые свой путь начинали»,— говорит она, а я чувствую себя ужасно вино-

\* Одна из лево-националистических группировок, действовавших в Испании независимо от ЭТА в течение нескольких лет после смерти Франко.

ватым: какой из меня святой, мы с Зином такими пакостями занимаемся, что за свои грехи нам в вечном пламени гореть. На стене висят большие часы с остановившимися стрелками, они застыли, не дойдя до покосившейся римской девятки, часы кажутся мне мертвыми, да и вообще в лавке сеньоры Кончи время умерло. Голос хозяйки похож на звуки старого, испорченного фонографа: «Как вам повезло с детьми, один другого лучше, а я такая одинокая». Каждый раз, когда дверь лавки открывается, весело звонит колокольчик и вместе с ним врывается шум улицы, голоса людей.

Я напрягаюсь, стараюсь различить эти новые голоса, но мне это не удается.

— Они вернулись, Хосечу,— говорит Гайола.

— Кто вернулся?

— Зин и Усатый. Они здесь.

Я спрашиваю, где Микель. «Он еще не пришел, куда это он мог деться, ума не приложу!» — отвечает Гайола. Господи, почему мне не дадут спокойно предаться воспоминаниям детства, уютно подремать в лавке сеньоры Кончи? Веки мои смыкаются, будто налились свинцом.

«Знаешь, Гайола, пусть они что хотят, то и делают», — бормочу я и снова отдаюсь на волю сна, вдыхаю свежий воздух, который врывается в комнату через открытую дверь, — меня обвевает сквозняком. «Они собираются еще полчаса подождать, до двух», — шепчет мне на ухо Гайолита, а я скептически усмехаюсь — я ведь знаю, что часы остановились на без четверти девять.

— Как бы мне хотелось с тобой поговорить, малыш. Мы ведь никогда по душам не беседовали.

— Я тебя слушаю.

— Ты в судьбу веришь?

Я пожимаю плечами. «А я верю,— говорит она,— и думаю, что у меня на роду написано оплакивать смерть мужчин, которых мне суждено полюбить». Она сжимает мне здоровую руку. Другая онемела так, что я ее не чувствую, какой гнусностью все обернулось, хуже не бывает. Она гладит мне лицо. «Знаешь? Я в западню попала, вот что. Сначала была уверена, что наши — самые умные, самые хорошие, а все те, кто нас ненавидит,— буржуи проклятые, богатеи-олигархи, и пошли они куда подальше. Правда, и среди богатых раньше было немало таких, кто нас поддержи-

вал. Помнишь? Чем больше крови лилось, тем громче они нам аплодировали. А теперь, когда началась вся эта болтовня про демократию, все изменилось. Ублюдки. Никому уже не нужны наши подвиги. Может, мне так кажется? Коротче, в мои двадцать шесть лет я — никто. Никто и ничто, малыш. Даже не женщина».

Я смотрю на нее.

— Клянусь тебе, Хосечу. Ну, в постели еще куда ни шло. Не хуже других — любой фору дам. Но это вовсе не доказательство, что ты — настоящая женщина. Просто ублажаешь свою плоть, раз уж такой родилась. Я ведь не извращенка какая. Речь не о том. Понимаешь, многие вещи, свойственные женщинам, пускай смешные, для меня недоступны. Например, то, что называют кокетством, игра с мужчиной — ты его завлекаешь, разогреваешь как следует, а потом прости-прощай... Или хотя бы купить тушь для ресниц — последний крик моды и посмотреть на себя в зеркало... На худой конец просто зайти в шикарный магазин и примерить одно за другим несколько платьев, пусть ты и не собираешься их приобретать... Если бы хоть жертвы наши были оценены, если бы мы чувствовали какую-то отдачу, но ведь и этого нет. Похоже, что мы всем мешаем. Даже те, что левыми себя называют, не знают, как объяснять прессе, радио, телевидению наши акции. Впрочем, знают. Они, как и все, осуждают насилие. Ну и на здоровье. Прежде-то их не шокировали наши насильственные действия, они их не осуждали — ведь им они шли на пользу. Но что поделаешь? Как подумаю обо всем этом, голова кругом идет. Одно я знаю твердо: сейчас я бы с удовольствием замуж вышла. Или просто жила бы с кем-нибудь и все — это для меня не важно. Хотя уж лучше замуж, как положено, в белом подвенечном платье, завести квартиру, кухоньку со всеми причиндалами, цветной телевизор с огромным экраном, судачить с соседками по дому на скамейке у подъезда. О чем угодно. Может быть, я бы себя чувствовала женщиной. А сейчас не знаю, кто я.

Она кладет голову мне на плечо. «А теперь слишком поздно,— говорит она и вздыхает,— потому что у нас хода назад нет. Дерьмо мы собачье, малыш, вот кто! И в дерьмо нас превратили эти самые наши идеалы».

Я думаю, что она права, отчаянная, неукротимая Гайоли-

та — фурия на первый взгляд, робот с автоматом в руках, женщина с мужскими повадками, с собачьей преданностью в глазах. Бог знает, чего в ней ни намешано, но сердце у нее золотое.

— Ты замечательный товарищ и потрясающая женщина,— говорю я.

— Ты правда так считаешь?

— Истинная правда.

— Тогда решайся. Мы еще можем бежать. Надежда еще есть.

Я сажусь на постели. «Нет у меня для этого сил,— говорю я,— ни физических, ни душевных. К тому же мне сейчас не до себя, меня больше беспокоит судьба Микеля, твоя, Пападока. Что с вами станется? Чем вы кончите? Я сейчас думаю, что самое лучшее, что мне удалось сделать в жизни,— это подвести вас к этой черте. Когда надо сделать выбор. Вам теперь поневоле придется хоть над чем-то задуматься».

— А эти у меня пистолет отобрали.

— Меня это только радует.

— Да, конечно. Понимаю тебя.

— Пусть делают что хотят.

— Зин бранится, говорит, что терпение его кончилось, что с того момента, как исчез Пападок, боевой группы уже не существует. Говорит, что настало время кончить дело как подобает мужчинам...

В комнату, прерывая речь Гайолы, словно разъяренный зверь, врывается Зин. «Свиньи,— кричит он, сжимая в руке новенький «файрбёрд»,— только и думаете о том, как бы в постели покувыркаться, свиньи поганые!» Я отчетливо различаю пятна крови на его перебинтованной руке. «А ты, предатель, доносчик, перестань из себя умника строить, готовься!»

Гайолита встает между Зином и кроватью: «Успокойся, Зин, давай я тебе руку перевяжу, не надо так нервничать».

В дверях в небрежной позе, покусывая корешок лакрицы, стоит Усатый. Видик у него как у заправского наемного убийцы.

Всего в нескольких метрах от него на газоне воробьи без-

заботно поковывали траву. Хосечу сложил номер «АВС» и положил рядом с собой на зеленую скамейку. Затем вытянул ноги и откинулся на спинку, подставив лицо лучам слабого зимнего солнца. Все в порядке, подумал он, ничего особенного не происходит, та же охрана, что и всегда, полное спокойствие. Краем глаза он наблюдал за порталом Военного губернаторства — аркой, украшенной выточенным из беловатого камня национальным гербом, на балконе в самом центре здания был укреплен флагшток. Внизу, на тротуаре по обе стороны портала можно было различить силуэты двух будок, покрашенных в свинцовый цвет. Солдат в каске и плаще монотонно прохаживался туда-сюда перед аркой, предупреждая выставив перед собой дуло автомата. В глубине двора то и дело мелькали люди в военной форме. Со своего места Хосечу видел лишь нижнюю часть фигур, иногда только сапоги, подбитые железом и позвякивавшие на отполированной до блеска брусчатке. Все кругом казалось спокойным. Прохожих в этот час почти не было, в скверике напротив, как всегда, отдыхали пенсионеры и под присмотром мамаш и бабушек играли детишки.

К этому времени — часы показывали около одиннадцати утра — вся боевая группа должна была быть в сборе и готова к действию. Хосечу мысленно представил себе Зина, он осматривает свой «беретц» со съемным прикладом, проверяет магазин с патронами, их вмещается ровно двадцать. «Многих можно одной очередью на тот свет отправить», — думает Хосечу. А Усатый, наверное, как обычно, лениво огрызается: «С какой стати мне еще мыться?» — он всегда пытается увильнуть от обязательного душа, который, принято считать, «не только грязь смывает, но и проясняет голову, обостряет реакцию», что способствует успеху в предстоящей операции. Усатому в «Кратком наставлении по городской партизанской борьбе» Маригеллы\* пришла по душе лишь одна фраза: «Смысл существования городского партизана заключается в том, чтобы нажимать на спусковой крючок». «Ну и грязный ты тип, цыган, — почему-то с жалостью подумал Хосечу, — жирный кабан ты, и больше никто».

Взяв газету, он встал со скамейки, бросил быстрый взгляд

\* Бразильский революционер ультралевого толка, один из лидеров террористического движения (в прошлом деятель компартии). Погиб от рук боевиков Эскадрона смерти.

вокруг, нет ли где подозрительной машины — не успеешь оглянуться, как эти сволочи тебя сфотографируют, будто ты Хулио Иглесиас\*\* какой-нибудь, — сунул газету под мышку и зашагал не спеша, словно прогуливаясь, рассеянно глядя по сторонам. Долго рассматривал бронзовый фонтан на площади, обошел несколько раз вокруг него, как бы изучая в разных ракурсах или же любуясь струями, пронизанными солнечными лучами. Дойдя до конца парка, он остановился у края тротуара и подождал, пока мимо пройдет рейсовый автобус. Потом пересек мостовую и перешел на другую сторону, где располагалось здание Военного губернаторства, после чего завернул за угол. Пройдя еще несколько десятков шагов, толкнул дверь в забегаловку, которую обычно посещали солдаты. В нос ему ударил спертый воздух бара. «Ну и набито сегодня здесь, — подумал он, — сразу чувствуется, что Рождество приближается». Протиснуться внутрь заведения оказалось непросто, так много было в нем народу, и он задержался у стойки возле самого выхода. И тут увидел, что недалеко, почти касаясь его военным плащом, расположился шофер генерала Вильякорты. Хосечу, поработав локтями, пристроился совсем рядом и попросил стакан белого вина. «Не люди мы, а звери, — думал он, стараясь избегать взгляда солдата, — он сейчас со мной заговорит или я первый к нему обращусь, спрошу что-нибудь вроде: «ну как, скоро на побывку?», а этот бедолага так никогда и не узнает, что симпатичный сосед у стойки, который с ним завел беседу, давно уже ему могилу вырыл. Чего доброго, перед смертью он вспомнит какой-нибудь мой анекдот и так и умрет с моей физиономией перед глазами. Но чему быть, того не миновать. Нельзя давать волю воображению. Настоящий революционер не должен задумываться над такими вещами».

Но шофер ничего ему не сказал. Заговорил он с пробиравшимся к выходу молодым сержантом — у того были гладко выбритое лицо и коротко подстриженные волосы: «Ну как там твоя Леокадия, Фернандильо?» Сержант ответил: «А ты чего в такую рань здесь делаешь?» — «Мне в аэропорт, но сначала нужно машину помыть», — объяснил шофер генерала. «Везет тебе как утопленнику». И оба засмеялись,

\* Популярный в Испании и за ее пределами эстрадный певец.

попытались потрепать друг друга по плечу, но это им не удалось — так тесно было в баре.

«В аэропорт? Зачем? Когда он туда поедет? Вильякорта куда-то улетает или нужно кого-то встретить? Может, приезжает какой-нибудь крупный начальник?» Вопросы иголками вонзались Хосечу в мозг. А шофер уже достал бумажник, чтобы оплатить свою рюмку: «Эй, получи!» Но к счастью, бармен его не слышал, внимание его было устремлено к клиентам на другом конце стойки, и Хосечу неожиданно для самого себя сказал: «Он, бедняга, замотался совсем. Посетителей вон сколько, а он один.— И добавил, неестественно хохотнув: — Я белого у него попросил, а он и внимания не обращает».

— А мне-то что — если внимания на меня не обратит, я уйду, и все тут. И так опаздываю.

— На побывку собрался?

— Куда там. До послезавтра об этом и думать нечего.

Поддержанию разговора помогают появляющиеся на свет пачка «Дукадос» и желтая зажигалка «бик». «Эти зажигалки никогда не подводят, по мне, других и не надо...» Солдат отвечает: «А я свою недавно потерял, а может, просто сперли ее у меня». Он заразительно смеется, сверкая ослепительно белыми зубами.

— На, возьми эту.

— Да что ты, не надо.

Но Хосечу, показывая другой «бик» — синий, «прости, Гайолита, что отдаю твой подарок, желтую зажигалку, но сейчас все минуты решают»:

— Да у меня другая есть. Возьми, чего уж там.

— Ну ты меня и выручил, мне надо срочно мотать в аэропорт, вернее, я сейчас уже должен был бы туда катить.

— Ты что, шофер?

— Вожу генерала.

— Да, неплохо он устроился. Небось домой в отпуск на Рождество полетит. А ты сиди тут как привязанный.

— Кто домой — этот? Что ты, он только о службе думает, ни о чем больше. Сидит в своем кабинете от звонка до звонка. Я за дочкой его в аэропорт еду, она из Мадрида прилетает.

— А, ну да, Рождество ведь: положено его в кругу семьи отмечать. Она что, одна прилетает?

— Со своей дочкой. Той лет пятнадцать всего, но она девочка что надо. Симпатичная такая. Прямо симпампушечка.

Хосечу снова притворно смеется: «Везет же некоторым, покатишь ведь ее прямо домой к генералу небось...», а шофер кричит бармену: «Да получи же ты с меня, наконец, черт возьми!» — и, чиркая зажигалкой, предлагает: «Разреши, я за твое белое уплачу, все равно ведь я в долгу остаюсь, верно?»

— Ладно, порядок.

«Привет». Солдат положил на пластмассовую стойку две монеты по двадцать пять песет и одну пятипесетовую — чаевые — и направился к двери... «Уйдет, чтоб его...» — и Хосечу в последней судорожной попытке выведать все до конца хватает солдата за руку и игриво шепчет в ухо: «Как домой ее привезешь, шлепни-ка ее по заднику от меня, им это нравится, а генерал не увидит». Тот доверчиво смеется в ответ, клюет на эту наживку:

— К сожалению, мы оттуда не домой поедем.

— Вот невезуха! Куда же это вы?

— Прямо сюда вернемся. Ровно к двум. Прихватим генерала — я тебе говорил, он с утра до ночи на службе, — а тогда уж домой.

— Ну, удачи тебе, приятель!

«Какая гнусность, Хосечу, желаешь удачи этому бедолаге, прекрасно понимая, что через пару часов его прошьют насквозь, — Зин и Усатый не станут церемониться, уложат его как пить дать, продырявят всего, разбирать не будут, в кого стрелять. И виноват в этом будешь ты». В этот момент он вдруг понял, какая предстоит мясорубка, если он что-нибудь не предпримет. Погибнет не только шофер, погибнут и обе женщины. Он явственно представил себе, почти воочию увидел их растерзанные тела, искаженное болью и ужасом лицо матери, изрешеченную пулями нежную кожу девочки, лужу запекшейся черной крови.

Он вышел из бара с отвратительным привкусом от вина во рту. Возле здания Военного губернаторства кто-то помахал ему рукой. Это был шофер Вильякорты, он дружески улыбался ему. Хосечу быстро зашагал прочь, спрашивая себя, что за человек он сам? Фанатик ли, психопат ли, пытающийся оправдать свои преступления пустыми фраза-

ми о свободе для народа, который вряд ли бы захотел обрести ее подобной ценой. Хосечу сильно нервничал, все время поглядывал на часы — уже без пяти двенадцать, а единственный телефон-автомат поблизости занят. На улице полно народу, слышатся обрывки разговоров, куда-то спешат бродячие торговцы, люди идут целыми семьями, обвешанные пакетами, — скоро Рождество. «А мы, самоотверженные борцы за счастье народа, — думал он, — а на самом деле выродки, проклятые Матерью-Родиной, собираемся уничтожить ни в чем не повинных женщин. Да кто мы такие после этого? На каком языке говорим?»

Впрочем, он прекрасно знал, на каком. На языке терроризма, который прежде всего стремится утратить. Если речь идет о государственном терроризме, то адрес его угроз — определенные группы общества, этнические или политические, — скажем, Гитлер стремился сначала утратить евреев, а потом и вовсе их уничтожить. Что касается басков, то свой вызов они бросали централистскому государству, разговаривая с ним языком саботажа, похищений и убийств. Государство, конечно, могло быстро восстановить только что разрушенный мост, убитого генерала заменить другим, но не могло рассеять атмосферу ужаса, рождаемую терроризмом. Одним словом, государство оказалось бессильным в борьбе с ним.

Шагая по улице, где усиливалась сутолока — прохожих становилось все больше, — он пытался мысленно представить себе, как выглядят дочь и внучка генерала Вильякорты. Мать он наделил вздернутым носиком — чертой, характерной, по его мнению, для особ женского пола, имеющих отношение к касте военных, — он улыбнулся, отметив про себя это, но вот дочка, та представлялась ему совсем иной. Он вглядывался в попадавшихся ему на пути прилично одетых сеньор и девочек лет пятнадцати, стараясь найти в них сходство с теми двумя женщинами, что создало его воображение. Но скоро бросил это занятие — время подстегивало. «Надо действовать, Хосечу», — думал он, сворачивая направо, к телефонной будке. Но у Пападока никто не отвечал. Он набрал еще два раза — снова ничего. Тогда подумал о Гайолите и позвонил на квартиру боевой группы. «Все в порядке, Гайола?» — «Спокойно на всех фронтах. А у тебя как?» — «Тут кое-какие осложне-

ния возникли». Гайолита: «Ты где находишься? Давай через десять минут встретимся».

Увидев, как она входит в дверь кафетерия, где было назначено свидание, он вдруг почувствовал себя спокойнее.

— В машине генерала будут две женщины,— сказал он, помогая ей усесться на высокое сиденье у стойки.— Его дочь и еще внучка, ей всего пятнадцать лет.

— Ну и влипли же мы.

Брови ее высоко поднялись. «Не знаю, что тебе и сказать, малыш, но все зашло уже слишком далеко. Целых три группы задействованы, дожидаются на своих местах, даже Пападоку не под силу остановить их».

Они переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга: «Что же нам делать?» Так они и переговаривались какое-то время молча — им не нужны были слова, чтобы передать все охватившее их смятение и ужас. «При той ненависти, которую Зин ко мне питает,— говорил взгляд Хосечу,— он не задумываясь пришьет меня на месте, если я решусь действовать на свой страх и риск». «Что значит действовать на свой страх и риск?» — спрашивают глаза Гайолы. «Если я попытаюсь остановить операцию во что бы то ни стало!» И оба они — тоже в мыслях, потому что их слез не было видно,— заплакали, взявшись за руки, сжимая друг другу до боли пальцы, оба переполненные гнетущим и унижительным чувством бессилия: «До чего же мы дожили, Гайолита, просим утешения у своих рук, но они не могут нам дать его, ибо все в крови».

Они разомкнули руки, словно их что-то оттолкнуло друг от друга.

— Еще подумают, что мы, как школьники, за ручки держимся,— сказала Гайолита.

А он:

— Куда, к дьяволу, Пападок запропастился?

— Позвони еще раз, прямо отсюда.

— Я мигом.

Хосечу позвонил еще и еще, посмотрел на циферблат, было уже около часа. «А генерал выходит с работы ровно в два»,— подумал он, поискав глазами Гайолу.

Вернулся он бледный как мел.

«Его нет». И, снимая с себя куртку, добавил: «Ну и жарница». Но она-то знала, что здесь вовсе не было жарко —

просто Хосечу стало невольно от обуявших его чувств — угрызений совести, робости и отчаяния, и еще от тайного страха перед неким голосом, внушавшим ему: «Ты не можешь примириться с этим, Хосечу, это же бесчеловечно, при чем тут две ни в чем не повинные женщины...»

— Две женщины, Гайолита, представляешь? И одна еще совсем ребенок.

— Мне пора идти,— пробормотала Гайолита.— Если хочешь, я переговорю с Зином и Усатым.

— И что ты им скажешь? Чтобы они святой водичкой стреляли?

— Просто чтобы были осторожнее.

— Эти-то — осторожнее?

— Тогда я попробую разыскать Пападока. Другого выхода нет.

Пауза.

— Пойду я,— сказала она, соскальзывая с высокого сиденья. И посмотрела ему в глаза. «Будь осторожен, хорошенько подумай, прежде чем что-либо предпринимать»,— сказал ее взгляд, а в ее грустной улыбке читалось: «Не повезло нам, теперь терпи».

— Ровно до часа сорока я буду дожидаться здесь твоего звонка. Разыщешь Пападока — пусть он сам мне позвонит. Но запомни: ровно до часа сорока. Ни минутой позже.

— Договорились. Ради бога, будь осторожен.

— Постараюсь.

*Наконец-то я понимаю, отчего такая суета за стеной. Мне сообщает об этом Усатый — он вошел сразу же, как только Гайола увела Зина под тем предлогом, что тому надо перебинтовать руку.*

— *Оставляем эту квартиру. Переправим все в другое место.*

*Усевшись в ногах постели, Усатый продолжает: «Нелегко было это сделать, черт побери, шутка сказать, перевезти все пушки, боеприпасы, три «мариэтты», дюжину гранат, кучу дымовых шашек, военные формы, автомобильные номера — ничего себе работка, да и рискованная, едрена вошь... Но теперь все в порядке,— заключает он. И улыбается, вода корешком лакрицы по губам.— Брат твой сейчас последнюю езду делает. Маски наши повез, тряпье*

всякое для переодевания. Картинка была — словно цирк шмотье перевозит».

И он замирает, глядя в потолок.

— Микель, тот настоящий мужик, не то что ты,— продолжает он,— ты-то к нам прибился, чтобы пофорсить только. А он даже отказался стать освобожденным членом группы. Помогает нам, оставаясь на легальном положении,— вкалывает вовсю, и сам себя кормит, и на нас работает. А ты просто дерьмо поганое и всем нам нагадил как только мог.

Тут он вскакивает словно ужаленный и вопит: — Тебе даже Пападока удалось вокруг пальца обвести! А ведь сколько раз я его предупреждал,— продолжает он вдруг совершенно спокойно, словно и не кричал перед этим.— «Не бери ты его освобожденным членом группы, этот сосунок сам не понимает, что творит, когда-нибудь всех нас подставит. Разве тебе не ясно, кто он такой? Вспомни, как он полковника убил, уже тогда было понятно, что это за тип».

Неожиданно он хватает меня за горло, сжимает его как клещами.

— Я бы тебя прямо сейчас придушил, только это будет слишком легкая для тебя смерть, не хочу, чтобы ты мне спасибо с того света сказал,— говорит он. И я слышу, как на его зубах хрустит вонючий корень лакрицы.

Усатый плюет в меня, и после этого его перекошенное лицо обретает обычное выражение. Отпустив меня, он выскакивает из комнаты и тут же возвращается с бутылкой с зажигательной смесью в руках, которую все мы называем «коктейль Молотова». Кладет бутылку на пол метра в двух от моей постели и, не глядя, говорит: «Потом мы подожжем квартиру, а ты в ней останешься». Я пристально смотрю на крохотную ампулу с кислотой — от уровня бензина в бутылке ее отделяет всего сантиметр, если не меньше.

Стараясь скрыть ужас, который внушает мне перспектива быть изжаренным заживо, я как можно спокойнее прошу его угостить меня «Дукадос». Он протягивает мне сигарету. «Как странно, что он так охотно угощает меня»,— думаю я, а он смотрит на меня, словно ему в диковинку, будто прежде не видел меня никогда, а я с наслаж-

дением, прикрыв веки, затягиваюсь, не обращая на него никакого внимания.

— Хреновина какая-то со мной творится,— слышу я его голос и по тону чувствую, что припадок бешенства у него прошел.— Я тебя, оказывается, как следует до сих пор не знаю. Хотя все это время с тебя глаз не спускал — ходил за тобой повсюду как тень. Я даже видел, как ты из машины стрелял в муниципального стражника. И рассказал Пападоку, но он не захотел вникать в это дело: «нам нужны такие люди, у него характер есть». Нет, ты все-таки объясни мне, как тебе удалось обмануть такого человека, как Пападок? Правда, теперь он уже не тот, что прежде. Похоже, заколебалась его вера. И все ты, ты в нем сомнения посеял. Кто ж еще? Мало того, что провалил дело и всех нас под удар подставил,— ты еще и Пападока сгубил. Он ходит как неприкаянный и все бормочет себе под нос: «Господи, Господи...» Бывает, поздно ночью придешь к нему на квартиру, потихоньку проберешься в спальню, уляжешься на полу возле его постели, как сторожевой пес, и всю ночь слышишь, как он твердит «Господи...». Потом утром встает и вроде такой же, как прежде, но я-то знаю, что он уже другим стал.

Так как мне любопытен его рассказ, я не прерываю его, даю ему выговориться.

— Он ко всему интерес потерял и сам прекрасно это понимает, борется с собой, старается себя преодолеть. Я это нюхом чую, как пес, да я и есть его верный пес и горжусь этим! Когда объявили, что он убит, я такому не поверил, потому что был твердо убежден: он способен восстать из мертвых, и вот настало время, и он заявился ко мне на хутор — как поднялся в горы, так первым делом меня разыскивать стал. Именно меня он разыскивал, а не кого-нибудь другого, когда во всех газетах писали, что он убит. Ты, наверное, помнишь, как это было...

«Давай, цыган,— говорю я ему мысленно,— вываливай все, что знаешь, ты вот-вот мне вашу тайну выболтаешь», но Усатый вдруг умолкает, проводит рукой по лбу, как бы пробуждаясь от гипноза. «Непонятно,— думаю я,— то ли он окончательно сбрендил, и все это ему привиделось, то ли он говорит правду».

— Об этой смерти тогда много болтали,— снова загово-

рил цыган,— но тела так и не смогли обнаружить. А он мне сказал: «Ты, Эулалио, теперь всегда при мне будешь. Сейчас мы за настоящую работу примемся». Пошли мы в город, и он застрелил одного очень важного сеньора. Выяснилось, что тот был осведомителем. Он его чисто так ликвидировал прямо у подъезда дома. И с тех пор мы всегда вместе. Пападок воскрес спустя четырнадцать месяцев после сообщений о его гибели, но так никто и не знает, кто он на самом деле.

Усатый смеется, довольный собой, а я решаю пойти ва-банк.

— А я знаю,— говорю я.

— Ты? Да что ты о себе воображаешь? Кто ты такой, чтобы знать, кто на самом деле Пападок?

— Тебя это не касается. Знаю, и все тут.

— Врешь! — кричит он. И я слышу, как он снимает пистолет с предохранителя.

Я бросаю на пол сигарету, растираю ее ногой и с вызовом гляжу на него. «Иди ты куда подальше, цыган вонючий!» — говорю я, ложусь на постель и отворачиваюсь к стене. «Господи Боже мой,— думаю я, чувствуя, как ствол «парабеллума» утыкается мне в затылок,— сделай так, чтобы он не промахнулся».

«Спасение твое не в идее, которой ты привержен, спасение в тебе самом, Хосечу, в твоей душе, ибо только твоей душе, которая не умеет рассуждать, а способна лишь чувствовать, дано определить, где добро, где зло, дано привести тебя к горным высотам мудрости, приобщить к творческому озарению. Вслушайся в нее, в твою душу, Хосечу, и ты услышишь ее тихую и тайную песню, сделай все, чтобы только она, душа твоя, словно форштевень судна, прокладывала тебе путь в бурлящем море идей — путь к постижению Божественного...»

Он внимал этому потаенному голосу, сидя за столиком в кафетерии перед чашкой остывшего кофе и внимательно наблюдая за входной дверью. Он почувствовал недомогание — голова кружилась, ладони стали потными — и решил, что это из-за того, что в кафе холодно. У него дрожали мускулы лица — он только что сам это видел в зеркале на стене, когда выписывал из телефонной книги номер

Военного губернаторства. В голове стучал вопрос: «Сможешь и ты простить меня, Господи?» Именно тогда он подумал о своей душе, о душах других, о вселенской душе, вдруг осознав, словно его посетило откровение, что понятие «ближний» составляет неотъемлемую часть этой единой вселенской души, и, как только это поймешь, становится ясным, что именно ближний твой — самый прекрасный и самый достойный объект познания и любви.

«Скажи, Хосечу, последуешь ли ты голосу своей души, если сейчас в эту дверь войдут полицейские либо, не исключено, твои товарищи по оружию? Признайся, не ввяжешься ли ты в новое кровопролитие?» Задавая себе этот вопрос, он поглядел на часы — двадцать три минуты второго, отпечаталось в мозгу, — и тут молоденький прыщавый официант сказал ему: «Вас к телефону, сеньор». Слова эти, произнесенные почти шепотом, прозвучали в ушах Хосечу трубным гласом Апокалипсиса или набатным колоколом — не сразу скажешь, какое сравнение тут больше подходит. Он бросился вниз по лестнице к телефону, чувствуя, как у него ломит в висках. «Слушаю, — раздался в трубке неестественно спокойный, лишенный выражения голос Пападока. — Хосечу? Да, я только что разговаривал с Гайолой, но уже поздно что-либо изменить, очень сожалею». Он ответил — при этом губы его дрожали словно у наркомана, впервые выкурившего сигарету с марихуаной, а слова вырывались словно в лихорадке: «Слушай меня внимательно; я тоже сожалею, но я только что предупредил заинтересованное лицо, ты знаешь, о ком я говорю, так что можешь отозвать своих псов». Повесив трубку, он тут же набрал номер телефона Военного губернаторства: «Генерала Вильякорту, да, лично, и пусть подойдет побыстрее — речь идет о жизни и смерти».

Улицу залил яркий солнечный свет. Слабеющий ветерок гнал по небу редкие облака. В глазах Хосечу стояли слезы — то ли от холода, то ли от полноты ощущения жизни, от мысли о том, что и он сам жив, и другие живы. Солдат, оплативший ему в баре стакан вина в знак признательности за подаренную зажигалку; генерал, ничего ему дурного не сделавший; его дочь и внучка, которых теперь наконец-то он увидел воочию, они стояли под слабым рождественским солнцем — мать куталась в меховое манто,

а дочь смеялась, болтая о пустяках с шофером. Живы веселые молоденькие девушки — а может, и не девушки — в фирменных халатиках с вензелями на карманах — названием фабрики, где они работали и откуда вышли пообедать; и громко чирикающие вездесущие воробьи, без усталости клюющие что-то в траве, на которую ложатся все более длинные и холодные тени, вызывавшие желание как можно скорее оказаться дома, в тепле. Даже и этот старик, совсем утонувший в просторном пальто, исполнен надежд на долгую жизнь. О жизни говорит журчанье воды в фонтане, мягкое шуршанье ивы под ветром, бой курантов, отмечающих каждую четверть часа. Только что пробило без четверти два, и вот уже над городом плывут два громких, торжественных удара. Появляется генерал, окруженный группой военных. Он невысокого роста, худощав, седоволос, с розоватой кожей на лице. Хосечу с удовольствием подошел бы и пожал ему руку. «Прекрасный денек выдался, генерал,— сказал бы он,— а ведь такой ночью ветрище дул...» А генерал ответил бы ему: «И не говорите, я глаз всю ночь сомкнуть не смог, моя спальня расположена так...» Генерал разговаривает с дочерью, та подносит пальцы к губам — видимо, она напугана его словами, — а девочка все болтает с водителем. Крепкий и рослый майор приказывает кому-то из подчиненных: «Быстрее такси».

Какая-то непреодолимая сила влекла Хосечу ко входу в здание Военного губернаторства, которое только что покинул генерал. Он подошел к арке, и в этот момент оттуда на полной скорости вырвался мотоциклист — он еле успел отскочить в сторону. Хосечу пошел дальше, прибавив шагу, ощущая «парабеллум» в хольстере на ремне, перекинутом через плечо, — ремень давил ему грудь. «Кто вы такой?..» — спросил его генерал по телефону. «Не задавайте наивных вопросов, сеньор, послушайте немедля моего совета: усильте охрану вокруг своего дома и в ближайший час не появляйтесь там». Мотоциклист, выскочивший из-под арки, почему-то вызвал в нем гнетущие предчувствия.

Хосечу пошел малолюдной улицей подальше от скверика с фонтаном, направляясь в сторону моря.

На Пасео Маритимо ни души. Языки песка на асфальте, взвихряемые легким бризом, хруст песчинок под ногами,

песчаная пыль в воздухе и всепроникающий свежий, соленый запах моря. Ни одной чайки. Интересно, сохранилась ли на песке кровь Санромана? Хосечу пересек широкую мостовую, направляясь к берегу. «Вот здесь это произошло,— сказал он себе,— но крови Санромана здесь уже нет». Милосердный песок тонким слоем покрыл след преступления.

Не в силах справиться с каким-то болезненным любопытством, он вошел в тот бар, где в последний раз был с Бегоньитой.

— Каким ветром тебя занесло, Хосечу?

— Да так уж получилось.

Хозяин потрепал его по плечу:

— Совсем нас забыл. Сколько же времени ты у нас не был?

Хосечу поднял глаза к потолку, словно вспоминая, хотя точно знал — ровно шестнадцать месяцев.

— Да больше полутора лет...

— Прекрасно помню, когда ты был в последний раз. В тот день застрелили Санромана. Дело было в августе, верно? Вот Микеля — того я иногда вижу. Он заходит сюда, хоть и нечасто. Стаканчик белого?

— Нет. Пива, да похолоднее.

— Знаю, знаю. Не просто холодного — ледяного.

И они засмеялись.

В заведении никого, кроме них, не было, и Хосечу посмотрел через большую застекленную дверь на обширную террасу. Ему показалось, что снова он слышит голос Бегоньиты: «Ты мне больно делаешь...», и вновь звучат слова Иньяки: «Он тебе мешает?..», и опять взлетает на ходу подол юбки Бегоньиты, и Хосечу видит темные тесемки ее альпаргат, вспоминает взрыв своего дикого гнева: «Ах ты шлюха!» Целая вечность прошла за это время, позади остались забытые дороги, песок, когда-то обгаренный кровью, нежная песня детства, умолкнувшая в душных женских объятиях.

— Глория бывает здесь?

— Глория замуж выходит.

— Я этого не знал. За кого?

— Ты и ушам своим не поверишь. За полицейского из

Андухара, это где-то в Андалусии... А ты чем теперь занимаешься?

— Разъезжаю по торговым делам.

— По Франции путешествуешь?

— Да где придется.

«В воображении своем ты путешествуешь, идиот. Входишь в спальню Бегоньиты, возвращаешься в страну детства, где время умерло без четверти девять, стараешься забыть о настоящем».

— Да, пиво у тебя что надо.

— Ты что, контору бросил?

«Я все бросил, даже надежду...»

— Я сейчас больше зарабатываю.

«Опять лгу. Должен лгать, потому что мозг твой, торгош проклятый, ничего, кроме лжи, не воспринимает, он способен только понять, что кто-то покупает за столько-то, а продает за столько-то, а на все остальное наплевать!»

— А Зин? Он тут появляется?

— Кого из них двоих ты имеешь в виду?

— Младшего. Старший-то женился.

— Да. На твоей девушке.

— Ну-ка, быстренько получи с меня. А язык в задницу себе засунь. На моей девушке только я могу жениться.

«Снова я не сдержался. Сколько раз предупреждал меня Пападок: «Придержи свои эмоции». Но с такой публикой это невозможно. Он шел в сторону центра, все ускоряя шаги. Проходя мимо развалин дома, Хосечу подумал, что и свою жизнь он превратил в такие же развалины. Вот к чистому небу взметнулась туча пыли — это взлетела на воздух мачта высоковольтной линии; плотный, лысый человек плавно оседает на землю, словно в замедленной съемке,— это посланный нажатием пальца Гайолы кусочек свинца продырявил ему череп: «Он осведомитель!» «Но не нам распоряжаться чужой жизнью, даже если это жизнь осведомителя,— пусть он сам со своей совестью разбирается»,— размышлял, шагая по пустынной улице, Хосечу. Окна и балконные двери домов вокруг были наглухо заперты — осторожней, террористы! И тут две смутные фигуры метнулись в парадное одного из домов. «Они идут за мной»,— пронеслось у него в голове, и он ускорил шаг.

Снова мелькают образы, опять он дома. «Ты коленки по-

мыл?» — слышится ему голос матери. А вот и отдавший богу душу жарким августовским днем полковник Санроман со своим вечным вопросом: «Что вам угодно?» «Интересно, Усатый с ними? — подумал Хосечу о своих преследователях, и ноги независимо от его воли перешли на бег. — Сначала мне нужно переговорить с Пападоком. Но ведь ему не дозвонишься». А те, в парадном, выжидают. «Нет уж, лучше я их лицом к лицу встречу», — он решительно повернул назад. Держа в руке пистолет, резко толкнул ногой дверь: «Не двигаться!» — и остолбенел. Там пристроилась юная парочка. В глаза бросились голые мальчишеские ягодицы, перепуганное лицо: «Не стреляйте, не стреляйте!» Девочка с лицом плаксивой куклы, позабыв прикрыть срам, с непотребно заголенной юбкой, взмолилась: «Только никому не говорите, я и вам, если хотите, позволю!» Хосечу захохотал в ответ: «Можете продолжать. Удачи, парень!»

Его разбирал нервный смех, он никак не мог с ним справиться. «Рано же они теперь начинают», — подумал он, останавливая такси, и снова у него вырвался сухой, невеселый смешок. Опустившись на мягкое уютное сиденье, он бросил небрежно: «В центр!» И тут же весь сжался в комок от пронзившего его подозрения: «Ну и болван же ты, Хосечу, это ведь их такси, иначе как объяснить его появление в такой час, около трех, на Пасео Маритимо — в это время здесь такси никогда не бывает». Тут он услышал недовольный голос таксиста: «Центр — большой, может, вы уточните...»

— Я скажу, где остановиться. Пока поезжайте в центр по любой дороге.

— Хорошо, сеньор.

Он был более чем уверен, что его сейчас вовсю разыскивают, как сумасшедшие повсюду рыщут, особенно Зин, но он не желал умирать, прежде чем не объяснится с Пападоком. Из окна машины он зорко оглядывал тротуары, дома, подъезды, замечал все, словно у него вдруг появилась целая сотня глаз: подозрительного типа с толстенным портфелем в руках — слишком он медленно идет и вид чересчур беззаботный, судя по всему, не желает обращать на себя внимание; машину, прилипшую сзади — почти на волосок от такси; киоскера, спрятавшего правую руку за стопку газет: «Этот уж наверняка!» И тут же шершавая рукоять «парабеллума» защекотала ладонь Хосечу, «ну что ж, ты сам этого захотел,

сволочь!», но такси катило дальше, пересекая перекрестки на желтый свет прямо под самым носом у регулировщиков, — они тоже внушают подозрение, мало ли кто скрывается под полицейской формой.

Воспользовавшись короткой остановкой у «зебры», он перескочил в другое такси: «Зеленый дельфин» знаете?» — «Вы ресторан имеете в виду?..» Ему захотелось вкусно поест, прежде чем он отправится в мир иной. И снова замелькали лица, ноги, руки, взгляды, жесты; вот плетется, задыхаясь под тяжестью груза, женщина с синюшными губами, увешанная массой сумок, какой-то горбун несет на плечах свой крест, вызывающий глумливые усмешки. Ему вспомнилось, как подростком его неудержимо влекли к себе всякие отбросы, нечистоты, гниль. Он усаживался на одном из быков под мостом и смотрел, как мутная речная вода несет куда-то кладбищенские цветы с осыпающимися лепестками, перевязанные лентой от свадебного букета; пластмассовые бутылки; куклу с оторванными руками; раздувшийся несозревший человеческий плод; беловатую капусту, напоминавшую препарированный мозг; облезлую дохлую кошку; батон хлеба, расплзающийся словно вывалившиеся из утробы внутренности. Зрелище распада непостижимым образом притягивало и завораживало его, как и сейчас притягивал и завораживал поток безликих людей, в любом побуждении которых он усматривал лишь подчинение простейшим рефлексам и полное неведение того, куда их несет неумолимое течение жизни. Слепых и глухих ко всему, что не связано с чисто материальными потребностями, стремлением накопить, поудобнее устроиться в жизни или просто выжить. Он думал о том, что они забыли о душе, единственном средоточии истинной жизни, а потому уподобились расплзающимся ошметкам хлеба, бесформенным недозрелым плодам, вытравленным из материнского чрева, осыпающимся кладбищенским цветам, которые несет потоком неведомо куда.

В ресторане его снова посетили видения. Первое участие, торжественный обед с родственниками и друзьями в этом же ресторане, шумное веселье за столом, а у него в груди, словно крылья бабочек, тихо трепетали отголоски пережитого в церкви. Они сидели тогда за тем большим столом в углу, у отца, когда он снял пиджак, под мышками

темнели круги от пота. Но сегодня он сел за другой столик, где иногда завтракал с Бегоньбитой. Как раз вот под этим бра в форме старинного фонаря, свет из него сочился едва-едва, словно сквозь мутный леденец, он снова почувствовал бледную руку Бегоньи на своей руке: «Не увлекайся, Хосечу, от вина ты совсем голову теряешь, я потом не знаю, как с тобой сладить...— и сразу же лукавый взгляд: — но немножко выпей, мне нравится, когда ты чуть-чуть под хмельком».

Метрдетель поздоровался с ним.

— Вы один?

— Совершенно один.

— В таком случае, сеньор, если разрешите, рекомендую вам заказать плавники.

И снова видения, на этот раз какие-то кровавые кошмары. Полицейская казарма, кровь, грязная ругань висит в воздухе, удары, скрюченные от боли люди... Он подумал, что как раз сейчас по всему городу идет облава, в его ушах явственно звучат слова команды: «Ты и ты, быстро в машину!» Он ощутил боль за своих товарищей, он подвел их, но тут же напомнил себе: «Не желаю быть мясником. За мной охотятся и те, и другие, не дам изловить себя как кролика». А хрупкая, словно хрустальная статуэтка, Бегоньбита сидит рядом с ним, они молчат, понимая друг друга без слов, связанные самой глубокой близостью, никакой тени не пробежать между ними — они одно целое. «Твой потерянный рай, Хосечу», — горько улыбнулся он и тут же заметил ответную улыбку, отразившуюся в черных глазах сидевшей за столиком напротив брюнетки. «Фигура что надо, остальное тоже сойдет...» — промелькнуло в голове.

— Не откажешься пообедать со мной? Приглашаю.

— Я тебя здесь никогда не видела.

— А я тут с семи лет завсегдатай.

«Она меня побаивается, это первое, к чему они приучаются,— нужно быть начеку, не дай бог, еще нарвешься на террориста, чего доброго, разрежет тебя на кусочки».

— Ну раз уж ты так лихо настроен...

— Просто я чувствую себя очень одиноким. Вот в чем дело. Чертовски одиноким.

— В наше время кто не одинок.

Женщина встала и, покачивая бедрами, туго обтянутыми платьем, пошла к нему, протискиваясь меж столиков, по-

крытых скатертями цвета кофе с молоком, почему они всегда так тесно столики расставляют? Под легкой тканью плотное тело, будто предлагающее: «Я к твоим услугам — теперь дело только за тобой, решай». Цоканье каблучков слышалось совсем рядом — брюнетка предстала перед ним.

— Ну, вот и я.

— Добро пожаловать на борт корабля. Мне тут рекомендовали плавники.

— Совсем неплохо.

И действительно, это оказалось совсем неплохо. Как и все остальное, последовавшее за плавниками, которые они запивали молодым вином. «Зачем тебе деньги, Хосечу? У тебя никого нет, ты никого не ждешь, пусть хоть эта толстуха ими попользуется».

Во время кофе последовал неизбежный вопрос:

— Ты далеко отсюда живешь?

— У меня тут совсем рядом квартирка. Небольшая, правда...

— Но наверняка уютная. Ты там одна?

— Одна. Подруг терпеть не могу. Знаешь, как бывает, попадется какая-нибудь лесбиянка, не отделаешься от ее слюнявых нежностей.

Несколько минут спустя поцелуй в лифте, затем жаркие объятия под прохладной простыней, тело льнет к телу, далее как обычно... К концу — пустота. Затем прозаическое журчанье струйки воды в биде, шелестенье банкнотов, и на смятой простыне малопривлекательное пятно, единственное воспоминание о недавней любви. И больше ничего.

— Можно от тебя позвонить?

— Если только не по междугородному, то пожалуйста.

— А ты, оказывается, сквалыга.

Пападок по-прежнему не отвечал, и он позвонил Гайолите: «Как у вас там дела?» В ответ молоточками застучали в ушах вопросы: «Ты цел и невредим? Где сейчас находишься? Что-нибудь знаешь о Пападоке? Я тебе потом все расскажу, сначала объясни, что произошло, только ничего не упусти. Ты разве радио не слышал?»

Брюнетка проводила его до лифта и сказала ему по-каталонски «до свидания». На прощанье они обменялись поцелуем, чувствуя себя достойными представителями двух национальных меньшинств.

*Я говорю им: «Все дело в том, что я сохранил способность думать, а мысли часто передаются без помощи слов, вот в чем вся заковыка, сами вы не желаете шевелить мозгами, но до вас дошло то, что я беспрерывно прокручиваю в своей башке, и вы вне себя от ярости, потому как нутром ощущаете, что я прав. Только не надо мне ваших сказочек про то, что настоящему революционеру не пристало так рассуждать, что его долг запрещает ему колебания. Знаем мы все эти теории, мы тоже книжки читали, если пожелаете, я вам эти книжные истины наизусть повторю, но жизнь реальная — совсем другое, нет нужды объяснять вам это, вы не хуже меня все понимаете. Никогда не поздно встать на правильный путь. Я не могу перестать думать — этого от меня не добьется ни Пападок, ни кто бы то ни был, мы ведь не скоты какие-нибудь. Во всяком случае, о себе я могу это твердо сказать. Нас натравливают на людей, как служебных собак — кидайся на человека и перегрызай ему горло. Я не желаю больше быть собакой».*

*На столе лежат орудия для моей казни — «парабеллум», кажется, он принадлежит Зину, «неужели ты решишься стрелять в меня, Зин?», черный капюшон, который мне набросят на голову, кусок пластыря, чтобы залепить мне рот, и еще роскошные наручники «пеги». «К чему они, — думаю я, — с теми, что на мне сейчас, тоже не сбежишь».*

*Зин и Усатый с торжественным видом — ни дать ни взять неподкупные судьи — садятся за стол, какая дешевка! Зина, правда, всегда прельщала театральность. Он встает и кладет на стол рядом с пушкой черный мешочек с шарами. А сидящий позади него Микель, не потерявший еще надежды спасти меня, говорит, что не надо спешить.*

*— Еще раз вам повторяю, не признаю правомочности вашего суда. И говорю это не как брат того, кого вы собираетесь судить, а как полноправный член группы. К тому же надо принять во внимание и мнение Гайолы. Ты что скажешь?*

*— А то скажу, что не отказываюсь бросать шары, но не признаю законность этого суда, пока не появится Пападок, считаю его фарсом.*

*Зин:*

*— А если он так и не появится?*

*Усатый смотрит на него своими глазками хорька, в них застыл немой вопрос: «Ты что, черт побери, хочешь сказать,*

что Пападока прикончили или он просто сбежал?»

Гайола снова берет слово:

— В таких случаях суд откладывается.

— Мы уже раз его откладывали,— отвечает Усатый.

— Ты лучше скажи, с какой стати отнял у меня оружие?

Я тебя, цыган, вижу насквозь. Спишь и видишь, как нажать на курок. Объясни мне, пожалуйста, чем тебе та официантка несчастная мешала? Она ведь ничего не знала!

— Бургете из-за нее застрелили!

— Перестань сказки рассказывать. Я требую, чтобы ты вернул мне пистолет. Он мой. Отдай его — сейчас же и при всех. Сю же минуто. Куда ты смотришь, Зин? А ты, Микель, чего ждешь?

Усатый:

— Чтобы ты его этому сосунку отдала?

— Это мое дело!

«Меня просто тошнит от Усатого!» — думаю я и тут же набрасываюсь на него с яростными обвинениями:

— Ты просто заурядный садист, вот в чем весь секрет. Вы знаете, что он сейчас со мной проделал? Приставил мне пистолет к затылку и сделал вид, что выстрелит. Ему доставляет удовольствие измываться над людьми. А главное, ему хочется верховодить, подмять под себя всех, и в первую очередь тебя, Зин, трудно поверить, что ты этого не видишь — ведь тебя не так-то легко обвести вокруг пальца. Сначала он разоружает Гайолу, потом ликвидирует меня, а затем сделает с тобой что захочет. А поскольку Пападока нет, то станет командиром группы.

Голос Микеля звучит громче чем обычно: «Ну, сначала ему со мной придется иметь дело».

Усатый рычит: «О какой группе ты говоришь, подонок? Ее уже нет. И ты в этом виноват, чертов сосунок!»

Гайола требует: «Отдай мой пистолет!»

По знаку Зина Усатый достает из-за пояса «парабеллум» и передает его Гайоле, а та тут же проверяет, заряжен ли он.

— Ну, раз вы так на этом настаиваете,— говорит, поднимаясь, Микель,— можете начинать. Но при условии, что и мой голос будет считаться.

— Ты его брат,— говорит Зин.

— Верно. Но я заменяю Пападока. И можете не сом-

неваться, будет двое против двоих.

Гайолита и Микель обмениваются взглядами. Молчание. Затем звучит спокойный голос Зина: «Есть и другое решение».

Микель вопросительно смотрит на него.

— Дадим ему пистолет с одним патроном, и пусть запрется в своей комнате.

Я мотаю головой. «Очень сожалею, Зин,— говорю я,— но я не собираюсь кончать с собой... Я ведь в Бога верую».

— Ну вот, теперь про Бога вспомнил. Нашел себе ширму. С каких-таких пор ты таким святошей стал?

— Тебе все равно не понять, даже если я возьмусь тебе объяснить, потому что тебя ненависть гложет. Я все знаю, Зин. Ты меня ненавидишь, потому что Бегонья любит меня. Только меня. И когда ты, свинья, пытался надругаться над ней, над женой твоего брата — ты и на это плевал,— она тебе все высказала, сказала, что вы оба ей омерзительны, а любит она меня.

Я поворачиваюсь к Усатому:

— Ты об этом разве не знал, цыган? Теперь-то ты понимаешь? Вы оба сделали ставки в этой игре. Но предупреждаю, держи ухо востро с Зином, запомни, Усатый, в тихом омуте черти водятся. Он предоставит тебе полную свободу действий, на все закроет глаза, лишь бы ты меня пристрелил — тебе ведь давно не терпится всадить мне пулю в затылок,— но сделает он это потому, что не хочет быть убийцей человека, которого любит Бегоньята. Ну, понял наконец? Он же потом и тебя продаст с потрохами, заявит Организации, что ты как раз и настоял на незаконном судилище и собственноручно застрелил меня. И Организация уберет тебя, обвинив в садистских наклонностях. У тебя ведь и без того дурная слава, а тут всего за сутки два убийства подряд — сначала ты убиваешь девушку Бургете, а потом меня. Так что подумай хорошенько. А на Пападока не рассчитывай. Потому что Пападок...

Усатый, кажется, испепелит меня взглядом:

— Что Пападок?

— Видишь ли, я не хочу тебя совсем с толку сбивать — ты ведь и так запутался,— но только сдается мне, что Пападок думает примерно так же, как и я. Неизвестно еще, как он отнесется ко всей этой истории.

Мои слова действуют на Усатого как удар обухом по голове. Он застывает, туго глядя на Зина, беспокожно ерзает на стуле, наконец встает, уходит на кухню и возвращается с бутылкой пива в руках.

— Мы все тут с ума посходили,— говорит он. И, глотнув из бутылки, делает знак Микелю, чтобы тот тоже сел за стол.— От имени Организации,— говорит он, не глядя на меня,— я обвиняю тебя в предательстве, в неподчинении приказу и еще в том, что по твоей вине погиб один из наших товарищей. Если тебе есть что сказать в свое оправдание, говори.

— Несправедливо убивать двух ни в чем не повинных женщин. Но, не говоря уже о справедливости, такая акция была бы политически неверной. Народ бы нам такого не простил.

— Мы убиваем ради высшей справедливости, и не твое дело решать, как нам действовать,— вмешивается Зин.

Потом он пускается в рассуждения на тему о том, как важна дисциплина для настоящего боевика. Мы — члены революционной армии, ведущей Революционную войну против врага, превосходящего нас в тысячи раз. Тот факт, что эти две женщины должны были ехать с генералом, вовсе не оправдывает моего предательского звонка, тем более что еще неизвестно, поехали бы они с ним в машине, а если даже и поехали бы, то погибли бы ли они при покушении. И он снова напоминает о жестоких карательных мерах врага, о засаде — из нее им удалось лишь чудом вырваться благодаря хладнокровию и бесстрашию Усатого — и еще про то, что пули врага настигли двух товарищей из группы поддержки, один убит на месте, другой тяжело ранен, и все это произошло из-за моей безответственности.

— И я говорю это вовсе не из ненависти к тебе,— срывается он на крик и ударяет кулаком по столу,— все это неоспоримые конкретные факты, и с ними не поспоришь!

— Из-за тебя наша группа развалилась,— добавляет цыган,— ты поставил под угрозу всю Организацию. В этом суть. Так что говори, если тебе есть что сказать в свое оправдание.

Как сказать этим людям о Боге? Я закрываю глаза, сдерживаю дыхание. Кровь стучит в висках, горло сдавило. «Я пропал,— думаю я,— они ведь во многом правы».

Внезапно приходит ощущение полной беспомощности, словно с меня содрали кожу, как кожуру с плода, обнажив незащищенную плоть. Сам воздух, каждое слово, даже мои собственные чувства вызывают нестерпимую боль во всем теле. «Ты боишься, Хосечу», — говорю я себе, всеми порами впитывая слова Зина:

— Ты повинен в смерти товарищей, и все потому, что потакал своей гордыне, ты убийца, а не мы!

Он говорит, кипя от бешенства, а меня пронизывает дрожь, по мере того как мой истерзанный мозг осознает страшную правду: я — ничто, и жизнь, моя жизнь в любой момент может погаснуть, как гаснет свет в комнате, когда — клик! — щелкает выключатель. Страх — а ведь в страхе всегда остается искорка надежды — уступает место ужасу. Если от страха человек способен уйти, убежать, то от ужаса избавиться невозможно. Что мне остается? Есть ли еще хоть какая-то надежда на спасение? Сейчас прервется мое существование в настоящем, его отсекут, как ампутируют у человека руку или ногу. Но существует ли будущее, будущая жизнь? Моя воля начинает возрождаться, она пробивает себе дорогу среди призраков смерти. Я должен их убедить. Я обязан сражаться, чтобы остаться в живых. Открываю глаза и вижу дрожащий подбородок Гайолы: разве я стою хоть одной ее слезинки? Микель смотрит на меня, потом опускает взгляд, встретившись с моими умоляющими глазами. Вместе с тобой, Микель, на Святой Четверг мы ходили смотреть процессию, когда несли распятого Христа. Тогда мне тоже казалось, что с меня сняли кожу, меня и тогда била дрожь. «Почему Христа убили, Микель?» — спрашивал я. «Он слишком добрый был». Обо мне этого не скажешь, но, Микель, неужели у меня нет будущего?

Совершая над собой невероятное усилие, я невнятно бормочу:

— Наше будущее, и мое, и ваше — это вечность.

Они не понимают, о чем я говорю. А я пытаюсь внушить им — да и самому себе, — что, если хочешь понять подлинную драму человечества, надо заглянуть в глаза смерти. Только в этом случае все обретает реальные очертания, человек ставит под сомнение те понятия, что на языке светлых, ослепших в своем заблуждении людей называются уверенностью в завтрашнем дне, благосостоянием, славой,

знанием, мудростью, Историей — всей той большой ложью, что заполнила нашу жизнь.

Мое бормотание сбивает их с толку, а для меня в тот момент, словно какая-то молния осветила все вокруг, стало ясно — мы окружены ложью, нагромождениями лжи, они обступают нас словно стены, и лишь изредка сквозь них пробиваются лучи истины, не давайте погаснуть этим лучам, не отверщайте от них взгляд, внимайте правде, которую они нам несут... потому что мы часто ошибаемся, принимаем ложь за правду. Нам недостает смирения.

Зин:

— Кто ты такой, чтобы читать нам проповеди?

— Никто, Зин. И все же мне хотелось бы тебе объяснить, хотя вряд ли мне удастся сделать это, что жить вовсе не значит стоять обеими ногами на земле,— это еще одна ложь, которую нам внушили; жить по-настоящему — значит ощущать всю глубину земли под ногами. Ну как бы тебе это объяснить? Послушай, Зин, представь себе людей в селении, расположенном прямо под плотиной, перегородившей водохранилище, не осознающих угрозы. Плотины прорывает, и тогда они разом прозревают, оказавшись лицом к лицу с реальностью. То же самое происходит и с нами, пока мы не заглянем в глаза смерти.

После долгой паузы Зин спрашивает:

— Тебе нечего больше сказать?

— Ничего.

«Я бы мог еще сказать,— думаю я,— что прошу у вас прощения и сам вас всех прощаю. Но если бы я такое сказал, слова мои прозвучали бы трусливо и мелодраматично, и ты, обретя равновесие, торжествуя улыбку, а в глазенках Усатого засветилось бы удовлетворение: «Этот сосунок просто насмерть перепугался».

Зин встает, держа в руках черный мешочек...

— Каждому вручается по два шара — черный и белый. Ну, вы знаете, как надо действовать. Просто кладете в мешочек один шар. Тот, который считаете нужным.

Усатый недовольно ворчит, что все это фарс, получится, как правильно сказал Микель, двое против двоих. Зин спрашивает моего брата: «Как мы поступим, если будет двое против двоих?»

Микель смотрит на меня.

— Поступим, как принято в таких случаях.

Зин поднимает раненую руку и морщится от боли. Потом обращается ко мне: «Если ничья выйдет, мы тебя отпустим на все четыре стороны».

Быть отпущенным на все четыре стороны означает быть приговоренным к пожизненному преследованию со стороны моих собственных товарищей — они, словно тени, будут идти за мной по пятам, пока не прикончат.

— Согласен, Зин.

Оказавшись в подъезде, он снова ощутил тревогу. Ему пришла в голову мысль, что брюнетка могла заподозрить что-то неладное и позвонить в полицию. Поэтому он почти бежал, пока не удалось поймать свободное такси. «До кинотеатра «Капитоль», — бросил он, опустившись на сиденье, и сразу же ощутил ночную грусть города, крепнувший холод на улицах, увидел слабое свечение первых фонарей, словно плывущих в тумане, серые фантазмагорические фасады домов — ему казалось, что он различает за их стенами елочки с гирляндами электрических огней, опутанные серебряными нитями, слышит радостные возгласы детей. В запотевших от дыхания посетителей окнах кафе вырисовывались тени людей, обладавших невероятной для него самого возможностью строить планы на будущее, думать о завтрашнем дне как о чем-то вполне реальном. Он замечал все — даже выступившие от стужи слезы на глазах продавщицы каштанов, перебиравшей товар руками в митенках. На тротуарах молоденькие мамы толкали впереди себя свое будущее — детишек в колясках «Хане». Зрелые пары выставляли напоказ святость супружеских уз — женщины крепко прижимались к мужьям. «Словно пришли на похороны», — почему-то подумал Хосечу.

Выйдя из такси у кинотеатра, он зашагал вдоль по улице. Зашел в первую попавшуюся на пути телефонную будку и набрал номер Пападока. «Тут меня как кролика пристрелить могут, очень удобное место для тех, кто за мной охотится», — подумал он. Ему припомнились слова Пападока: «Если ты не оправдаешь моих ожиданий, мне придется застрелить тебя». Телефон не отвечал.

Во рту было такое ощущение, словно он песка наглотался. «От вина, что пил с брюнеткой», — решил он и прибавил

шагу, чтобы выпить в первом же баре минеральной воды. Полицейский с автоматом в руках на миг задержал на нем свой взгляд. Хосечу прошел мимо с уверенным и равнодушным видом. Он продолжал свой путь, сохраняя внешнее спокойствие, но при этом настороженно присматривался к машинам, вглядывался в движения каждого встречного прохожего, мускулы его были напряжены, а руки готовы в любой момент выхватить пистолет.

В баре, куда он вошел, радио передавало результаты полицейской операции, завершенной во второй половине дня. Министр внутренних дел заявлял в интервью, что, хотя в последнее время вверенные ему силы общественного порядка добились больших успехов, полная ликвидация террористической организации — дело нелегкое, требующее всемерной помощи со стороны граждан. «Мы провели блестящую операцию...» — а Хосечу подумал, что, не будь его звонка, не состоялась бы эта блестящая операция — она стала возможной только благодаря его так называемому добровольному сигналу.

Оказавшись снова на улице, Хосечу глянул на часы — чуть больше половины восьмого. Испытывая растущую тревогу из-за упорно молчавшего телефона, он снова сел в такси, решившись ехать прямо в логово Пападока. Позади, метрах в ста, взвыла сирена патрульного автомобиля, Хосечу инстинктивно потянулся к пистолету.

— Что-то жуткое творится, — сказал таксист. — Весь город вверх дном перевернули. Ходят слухи, будто обнаружили три явочные квартиры и бог знает сколько «народных тюрем»\*.

— Обычно в таких случаях преувеличивают.

— Ну, не знаю. Центр и старая часть города буквально оккупированы войсками. На каждом углу по солдату, ей-богу. А кое-где улицы перекрыты, транспорт вообще не пропускают. Прямо как на войне.

Таксист, остановивший машину вместе со всем замершим потоком автомобилей, повернулся к нему вполоборота.

— Вы сами-то из здешних краев будете? — спросил он.

— Мой край — везде, вся земля. Эти игры меня лично не

\* Так в Испании и Латинской Америке ультралевые называют тайные убежища, где содержатся заложники или захваченные в плен противники.

касаются, не хочу о них и думать. Для меня они не существуют.

— Счастливчик.

Слева от них стремительно проскочила патрульная машина, расчищавшая дорогу трем грузовикам, битком набитым полицейскими.

— По мне — все это смех один, — нарочито цинично сказал Хосечу. — Война есть война, вы согласны со мной? В настоящей войне должны участвовать танки, бомбардировщики, авианосцы. На войне должны убивать, на то она и война. А все, что тут происходит, — ни то ни се, тягомотина какая-то.

По враждебному молчанию шофера Хосечу понял, что тот симпатизирует Организации. «Если бы он знал, кого везет, — мелькнуло у него в голове, — обалдел бы».

— Говорят, сегодня убили кого-то, — попытался продолжить он разговор. Но таксист даже не ответил ему.

Он вышел из машины неподалеку от дома Пападока, немного побродил вокруг. Ничего подозрительного. Те же клиенты в барах, ни одной патрульной машины поблизости. «Полный порядок», — пробормотал он себе под нос. Но когда вошел в подъезд, в лицо ему пахло кисловатым табачным дымом. Он тут же бросился на пол, уверенный, что его кто-то поджидает в темноте. В углу действительно послышался шорох. Он сжал рукоятку пистолета. И услышал еле различимый шепот:

— Малыш.

Он облегченно перевел дыхание.

— Ну и напугала ты меня.

Гайола бросилась ему в объятия. Пистолет ее царапнул ему висок. «Ты что тут с пистолетом-то делаешь?» Она стала целовать его куда-то за ухо, шептать, захлебываясь словами: «Что ты натворил, Хосечу! Ты даже и не представляешь себе». Она прижалась к нему изо всех сил, с трудом дыша от волнения. «Я так боялась, что тебя убили, — горячо шептала она, — я же тебя предупреждала, что ты слишком много думаешь. — Она прильнула холодными как лед губами к его губам. — Поцелуй меня, малыш. Клянусь, я собиралась стрелять в любого, кто вместе с тобой появится...» Он засмеялся.

— Можешь не клясться, ты меня этим не удивила.

— Я уверена была: или ты сам сюда придешь, или тебя сюда наши приволокут.

Они поднялись в квартиру Пападока. Хосечу открыл ключом, хранившимся у него с тех давних пор. В квартире было тихо. Освещал ее лишь слабый луч, падавший на пол столовой через шторы, занавешивавшие балконное окно. Только после того как Хосечу включил электрический свет, Гайолита закрыла за собой дверь, а затем, прижавшись к стене и выставив вперед руку с пистолетом, осторожно двинулась на кухню. Там тоже никого не было.

Гайола устало опустилась на стул около обеденного стола.

— Дела хуже некуда,— сказала она. И добавила, заглянув ему в глаза: — Ты должен исчезнуть. Испариться.

— Ладно, теперь рассказывай.

Он уселся в кресло Пападока, а она опустилась рядом на пол, обняла его ноги: «Ад вокруг какой-то». И стала рассказывать, что приказ Пападока об отмене операции поступил слишком поздно, Зину и Усатому еще повезло, цыган, угрожая пистолетом, остановил какую-то машину, и им удалось вырваться из оцепления, но в группе поддержки кто-то сорвался и ввязался в перестрелку с полицейскими. «Представляешь, болван какой, засел в бакалейной лавке, хорошо еще там посетителей не было... А Колдобики убили. Ты его знал, да?»

— Немного.

— В другого — мы еще не знаем, в кого именно,— пять пуль всадили. В грудь, в живот...

— А Пападок?

Гайола покачала головой.

— Еще одна загадка.

Она тяжело навалилась на его ноги.

— Зин считает, что он что-то затевает.

— Кто, Пападок?

— Да, так он считает. Они хотят тебя убить, Хосечу. Особенно Усатый. Он совсем рехнулся с того момента, как его Пападок куда-то запропастился.

Она приподняла голову и взглянула на него.

— Пападок тут же сообщил нам о том, что ты сделал, и велел привести тебя на квартиру группы.

— А там прикончить, ясное дело.

— Нет, он приказал, чтобы с твоей головы и волоса не

упало. Что он потом сам к нам придет. Но Пападока я боюсь больше всех остальных.

Пауза. Затем Гайола спрашивает: «Как ты думаешь, что он сделает?» — «А что он может сделать,— подумал Хосе-чу,— прочитает по мне, живому, заупокойную молитву, а затем отправит в мир иной».

Он спросил, что она вообще знает о Пападоке.

— Собственно говоря, ничего. И остальные ничего о нем не знают. Только Усатый — он ведь утверждает, что чуть ли не всю жизнь с ним знаком,— как-то намекал на одну известную ему очень важную персону, которую все ошибочно считают погибшей. Но нам не удалось из него тогда вытянуть, имел ли он в виду Пападока или кого-то еще.

— Это кто-нибудь из членов Организации?

— Не знаю точно. Но думаю, что да. Скорее всего.

— А не выдумал ли все это цыган?

— Вряд ли. Вообще-то давно уже ходит легенда про то, что Пападок какая-то важная шишка, о его ликвидации объявили сразу несколько враждебных ЭТА группировок\*.

— Короче говоря, он мнимый мертвец.

— Что-то в этом роде. Согласно той же легенде, он находился во Франции в изгнании, исчез при загадочных обстоятельствах около какого-то местечка — Беовии, кажется,— все это случилось примерно года четыре назад.

— Я тоже об этом слышал. И что тело покойника так и не нашли.

— В том-то и загвоздка. Болтают, что, хотя он был тяжело ранен, ему удалось уйти, скрыться в горах... его приютил какой-то пастух.

— Усатый?

— Тоже не знаю. А может, все это выдумки. Еще, правда, рассказывают, что этот человек, кто бы он ни был, пока выздоравливал — а длилось это несколько лет,— многому научился. И когда он снова объявился, Организация стала наносить такие мощные удары, каких не было со времени операции «Людоед». На крючок попадались крупные рыбы. Правительство вынуждено было вступить с нею в переговоры после того, как был похищен какой-то депутат. Утверждают еще, что с Организацией приходится считаться даже

\* Созданные спецслужбами из бывших полицейских и наемных убийц в противовес ЭТА подпольные террористические группировки.

мадридским властям. Хотя скорее всего это только слухи.

— А я готов прямо сейчас назвать тебе одно имя.

— Лучше не надо, малыш, давай забудем все эти истории, подумаем лучше о твоей жизни.— И Гайолита прижалась лицом к его коленям.

Потом снова подняла голову.

— Хочешь, я уйду с тобой? — спросила она.— Скроемся вместе. Я знаю, как раздобыть денег, — нам надолго хватит. Переберемся через границу и...

— И что? Будем жить как затравленные псы, а под конец нас все-таки укокошат.

Гайола опять прижалась к нему, затем вдруг выпрямилась и повела носом совсем по-кроличьи.

— От тебя дорогой проституткой пахнет, — сказала она. Он в ответ пожал неопределенно плечами и улыбнулся как избалованный мальчишка.— Но для меня это не важно. Раз ты так сделал, значит, тебе это необходимо было. Давай решайся, скроемся вместе, а я пока пойду денег раздобуду.

Взяв ее за руку, он повел ее в крохотную спальню Пападока. «Смотри, — сказал он, показывая на полки, тесно уставленные книгами, — смотри, что запоем читает наш шеф, все это на латыни или на немецком, неизвестно, кто их авторы — ангелы или бесы, но для него это не имеет значения... Я не удивлюсь, если он действительно из мертвых воскрес». Голос у Хосечу задрожал.

— Пападок тебя прямо завораживает. И всегда так было.

— А что еще рассказывает легенда?

— Больше ничего.

— Там не говорится что воскресший из мертвых к тому же обладал даром провидца? Что он читает в сегодняшнем дне то, чему суждено быть завтра? Что он вездесущ?

Он сжал ее руку.

— Помнишь, мы банк экспроприировали? Тогда я первый раз в деле участвовал. Кроме нас с тобой там были еще Зин и Усатый.

— Помню.

— Там среди посетителей один священник был. Я отключился на секунду, чем-то он мое внимание привлек, а Пападок об этом узнал. Сам об этом мне позже сказал. Как он мог узнать об этом священнике и о том, что я

отвлекаясь из-за него?

Она почувствовала, как у нее по спине холодок пробежал.

— И сейчас он меня где-то ждет,— продолжал Хосечу.— Я точно знаю, что он меня где-то ждет. Может быть, здесь спрятался, среди этих книг, или вот здесь,— он постучал себя в грудь,— вот здесь!

— Ну что ты за глупости мелешь? Пападок укрылся себе в каком-нибудь безопасном месте, поджидает, как все дальше обернется. Не забывай, что один из раненых попал в руки полиции, его наверняка заставят говорить. Тут Пападок не может чувствовать себя в безопасности. Да и мы тоже. Так что давай уберемся отсюда поскорее.

Она потащила его к выходу.

— Мне все это тоже надоело,— сказала она.— Хочу быть свободной. Я должна решать сама за себя. Послушайся меня, малыш, давай убежим вместе. Есть ведь и другие страны, кроме этой. Ну, а в худшем случае... что ж поделаешь, значит, не повезло. Будь что будет, лишь бы из этого ада вырваться.

— Мне нужно увидаться с Пападоком. Это необходимо.

Хосечу открыл входную дверь и устремился вниз по лестнице.

*Бог, выражая несогласие, молчит. Всякий раз, когда я взываю к нему, прося сотворить чудо, я слышу в ответ молчание. «На какое чудо ты можешь рассчитывать?» — спрашиваю я себя, а может быть, это Он меня спрашивает. Я, признаться, и сам не знаю, слишком уж здесь темно, в темноту погрузились мои мысли, и мой разум затемнен. А пока я стараюсь вырваться к свету, слышу голос Зина:*

— Значит, договорились: у каждого по черному и белому шару, так что можем приступить к голосованию. Готовы?

*«Чудо, которого я жажду, гораздо более невероятно, чем расступившееся море, обнажившее сушу. Я не прошу сохранить мне жизнь, Господи. Я бы признался тебе, что устал от нее, но боюсь, что такое говорить нельзя...» Произнося мысленно эти слова, я с неотрывным вниманием слежу за каждым движением Зина, за его перебинтованной рукой — он берет ею черный мешочек, не сгибая пальцы, ему мешает боль в фалангах, а я думаю, что он готов на любую подтасовку, лишь бы добиться лишнего голоса за мою*

смерть. «Я хотел сказать Тебе, что не знаю, какое чудо может вернуть мне прежнюю чистоту, и не осмеливаюсь просить Тебя о нем, потому что это было бы дерзостью, но я нуждаюсь в чем-то большем, чем просто прощение. Хочу, чтобы Ты сделал так, чтобы прошлое мое исчезло, словно его и не было вовсе. Ну что Тебе стоит, возьми себе этот отрезок моей жизни — это ведь такая малость,— возьми его и выжми, как губку, пропитанную преступлениями, выжми ее, освободи меня от всего этого ужаса. Я знаю, Ты можешь это сделать, а если не сделаешь, то потому, что слишком уж велик мой грех или же чересчур многого хочу. Ведь, по сути дела, я не только этого прошу — я прошу тем самым, чтобы содеянное мною было стерто из памяти людей, а значит, и их нужно уничтожить».

Рука Гайолиты исчезает в мешке и появляется снова, уже пустая. Голова моя тоже пуста, из нее исчезли все мысли. Теперь рука Микеля, крепкая, покрытая густыми волосами, погружается в треклятый мешок, и кажется, что вся его жизнь сосредоточилась там. «Вы оба спасаете меня от казни,— думаю я,— но когда этот фарс кончится, я превращусь в нового Вечного Жида, по пятам которого неумолимо следует смерть». Рука Усатого с трудом вмещается в мешок. Сразу же за ним кладет свой шар Зин, ледяная улыбка его при этом навсегда отравляет мои детские воспоминания.

— Ну вот,— говорит он, глядя на Микеля и ожидая его реакции.— Вы согласны, что все правила соблюдены?

Молчание.

— Тогда приступай к подсчету, Усатый.

Я слышу, как стучат шары, выкатываясь на стол. И клянусь Господом, что совсем не удивляюсь, услышав слова Зина:

— Три черных и один белый. Казнить.

Гайола догнала его лишь в подъезде. «Что ты так бежишь,— фыркнув, сказала она,— чуть шею не сломала, гонясь за тобой по лестнице». Она повисла у него на руке. Ей было трудно поспевать за его широкими и быстрыми шагами по щербатому тротуару. «Мне страшно за него,— думала она,— когда он такой становится, не знаешь, чего от него ждать». Отчетливый звук его торопливых шагов эхом

отдавался в темном переулке, вдали виднелась большая людская улица, сверкающая огнями реклам и витрин.

Сырость. Туман. Крыса бесформенной тенью выскакивает из канализационного колодца — противный ее писк словно пристает к спине, вызывая дрожь отвращения. Под ногами шелестит какая-то бумага.

— Сбавь шаг, сынок.

— Не понял.

— За тобой не угонишься.

Обмотанный шарфом старик — руки в карманах потерявших форму брюк — остановился посреди улицы, глядя им вслед.

— Ты привлекаешь внимание. Успокойся. К чему такая спешка?

— Мне нужно повидать Пападока.

— А Микеля? Почему бы тебе не позвонить ему? Может, он знает, где Пападок?

— Микель тут ни при чем.

В темноте Гайола с трудом различает профиль Хосечу. Голос его прерывается от быстрой ходьбы.

— А ты сама как считаешь? Правильно я сделал, что позвонил в Военное губернаторство, или нет?

— Ты сделал то, что тебе велела совесть. Ни хорошо, ни плохо. Но сделал ты это очень неудачно, не вовремя. Надо было нас хотя бы предупредить. По крайней мере, меня. Разве я не заслужила этого?

— Другими словами, наломал я дров. По этой части я большой дока: что ни сделаю, щепки летят. Но как бы там ни было, должен сказать тебе, что ни о чем не жалею, я рад, что спас жизнь двум женщинам.

— Ну а теперь что ты собираешься делать?

Они дошли до освещенной улицы, и Хосечу остановился на углу.

— Сдаться,— ответил он сухо.

— Пападоку?

— Нет, не Пападоку. Я отдаюсь в руки моих товарищей по боевой группе, которой принадлежу и которую я предал. С Пападоком у меня совсем другие дела. Иными словами, для начала я отдаюсь в твои руки,— и он, улыбаясь, протянул ей соединенные, как бы готовые принять наручники, кисти. Но Гайола резко повернулась и пошла от него, бро-

сив: «Не говори глупостей. Мне никто на улице отдаться не может — в постели, другое дело. Так что заткнись».

Они молча прошли еще с сотню метров, и она предложила еще раз позвонить по телефону.

— Может, все-таки обнаружим Пападока,— сказала она.— Поговоришь с ним, объяснишь, как все произошло.

— Ты поедешь на квартиру,— отрезал он.— К нашим. Тебе там положено быть. Такой ведь был приказ?

— А ты?

— Я к вам скоро приду, сначала мне надо кое-какие дела уладить.

— Очень мне за тебя тревожно. Разреши с тобой пойти, ну прошу тебя. Мало ли какой сумасшедший тут бродит, тебя ищет. Знаешь, как говорится, четыре глаза больше увидят, чем два.

— Мало ли что говорится. Вон для тебя такси,— и он почти насильно потащил ее к машине, втолкнул в нее, покосившись подозрительно на таксиста.— Через полчаса буду,— сказал он,— скажи ребятам, пусть не беспокоятся — я обязательно доиграю с ними в картишки.

Но получаса на все не хватило, потому что он зря потратил время в «Сальдубаре» — сюда, в этот кафетерий, почти каждый вечер заходила Бегонья с мужем, но на этот раз ее не было,— а потом в баре «Эскивель», где года полтора назад познакомился с Пападоком.

В «Сальдубаре» он минут двадцать проторчал у стойки, растягивая как можно дольше рюмку с коньяком «Карл III», все надеясь в последний раз взглянуть на Бегоньиту. В углу сидела все та же компания молодоженов, обычно собиравшаяся по вечерам, среди них был и муж Бегоньиты, Иньяки, насупленный как всегда. «Вечно чем-то недоволен, поганец»,— вяло подумал Хосечу, настороженно поглядывая на входную дверь,— оттуда в любой момент могла показаться она... Или пара полицейских, или, чего доброго, кто-то из своих. Это означало бы для него конец, они бы кивнули ему: выходи, мол, мы тебя ждем; или незаметно приставили бы дуло пистолета к спине, шепнув: «Иди на выход и не рыпайся, не то пристрелим на месте». Ну что ж, придется смириться с тем, что не удалось увидеть ее в последний раз. Впрочем, если хочешь еще раз ее увидеть, закрой глаза, вспомни ту лунную ночь, когда она на пляже разделась и все

ее тело отливалось серебром. Потом он подумал о матери — от навалившегося на нее в последнее время одиночества она совсем сгорбилась, и он вспомнил ее молодой, веселой и красивой, вспомнил смешные, ласковые словечки, которые она для него находила: «жеребеночек», «вояка мой» и позже покрывала все его шалости: «у мальчика доброе сердце!». Вспомнилось, как она слова не могла выговорить от счастья, когда ему дали работу в конторе судоверфи и он тут же обручился с Бегоньитой. «Я ведь знала, — говорила она, — что ты обязательно справишься, как жаль, что теперь, когда ты стал настоящим мужчиной, отец не может тебя увидеть».

Так и не повидавшись с Бегоньитой, переполненный и опустошенный мыслями о ней, он сел в такси и назвал шоферу адрес своего дома: «Тут километров пять, я вам покажу». Город весь словно ошетинился автоматами, то и дело завывали сирены патрульных машин. Хосечу проверил под мышкой в хольстере пистолет.

— По какому случаю ангелов-хранителей понатыкали на каждом углу? — спросил он таксиста.

— После обеда вся эта кутерьма началась. Бегают по улицам с оружием, как в ковбойском фильме. Срам один. А вы что, не в курсе дела?

— Да я только что приехал.

Пожилого водителя словно прорвало: «Творится бог знает что, вы уж мне поверьте, два раза я за город сегодня выезжал, так меня на каждом километре останавливали. Ну, не стыдно ли дойти до такого?»

— Тогда уж лучше не поедем, а то примут нас за террористов, всю шкуру продырявят. Такое бывало. Давайте назад завернем.

— Я тоже считаю, что так правильнее будет. Довезу вас, куда скажете, а потом домой, телик посмотрю.

В баре «Эскивель» воздух был такой плотный, что хоть ножом режь. Поблекшие от дыма гирлянды. Надпись «С Рождеством!» на стекле с рекламой анисовой водки «Дель моно». С простоватым видом Хосечу поинтересовался у бармена, не видал ли он Эухенио — Пападок здесь представлялся под таким именем. «А его уже несколько дней как не видать тут, он вообще редко здесь появляется, всегда с каким-нибудь приятелем». — «Ладно, подожду его немно-

го». И он уселся за тот самый столик, где познакомился с Пападоком, и его тут же оглушил возбужденный галдеж завсегдатаев, разогретых выпивкой и предчувствием щедрой дополнительной полочки, выдаваемой на Рождество. «Жить надо, вот что...» — хрипел какой-то здоровенный мужик, изо всех сил напрягая голосовые связки, вены на его бычьей шее вздулись так, что, казалось, вот-вот лопнут, и Хосечу снова ощутил свою ничтожность, почувствовав себя словно безымянная песчинка в океане, перед ним всплыл вечный вопрос: «Есть ли будущее за порогом этой жизни или она прикована к настоящему, как больной мозг безумца к навязчивой идее?» Он почувствовал себя совершенно одиноким, всеми покинутым и вспомнил слова Христа: «Для чего ты меня оставил», пытаясь утешиться мыслью, что и Христос был революционером, человеком внутренне свободным, нашедшим в себе достаточное мужество, чтобы противостоять порядкам и нормам своего времени, посягнувшим на незыблемость Закона, поставившим любовь к ближнему не только над этим закосневшим и исчерпавшим себя Законом, но и над законопослушанием вообще. Христос был бунтарем, он отказывался подчиниться власти фарисеев, вольно чувствовал себя среди тогдашних «хиппи» — инакомыслящих оборванцев: среди бродяг, отверженных обществом, среди мытарей, проституток и воров; он утверждал, что все они войдут в Царство небесное раньше тех, кто слынут добропорядочными людьми. Христос не желал, чтобы власти им манипулировали, он открыто разоблачал глупость, лицемерие, подлость, отказался возвыситься над ближними и предпочел остаться с народом, со своими, хотя те под конец и предали его, отреклись от него. Христос-человек не был соглашателем, он был ниспровергателем отживших законов и тем не менее оставил всему человечеству основной непреходящий завет: уважение к человеческой жизни. Хосечу вспомнил слова отца: «Тебе следует уважать людей». Но отец говорил как конформист, пытался сделать из него покорное существо, вызывающее у других лишь ироническую усмешку, и поэтому Хосечу в глубине души, сам того не сознавая, презирал отца, в этом его исподволь поддерживала мать, негласно одобрявшая его проделки, — наверняка потому, что сама в глубине души осуждала смирение мужа, вечно занятого лишь своими

коровами, лишенного той жажды жизни и воли к действию, что была свойственна его старшему брату. Ему, Хосечу, не хватало отца-Христа, отца-революционера, человека, подобного Пападоку, подумалось ему, и вдруг он понял, почему его так всегда влекло к Пападоку. Дело в том, что тот был полной противоположностью его отцу, он был тем, кем Хосечу сам бы хотел стать — воплощением отваги, пронизательного ума, уверенности в себе и прежде всего бунтарского духа. Хосечу понял также, сколь изощрен механизм человеческого мозга: вопреки воле Хосечу, в его подсознании место отца занял Пападок, полный его антипод. Только так смог Хосечу почувствовать себя настоящим защищенным. И как только он понял это, в мозгу сверкнула новая догадка: он, Хосечу, как бы повторял своего отца. От природы он был так же незлобив, как и отец, которого со временем стал презирать, потому что и на улице, и в школе дети вокруг только и говорили что о настоящих героях из плоти и крови, убивавших и погибавших во имя свободы народа. Процесс перерождения достиг высшей точки в момент, когда Хосечу открыл, что его брат Микель — один из этих героев. Именно тогда, совершив акт бунтарства против отца, да и против самой своей сущности, он взял пистолет брата и застрелил Санромана. «А теперь все пропало», — подумал он, улыбаясь старичку с птичьим личиком, который с хмельным панибратством предлагал ему выпить у стойки. «Забудь свои печали, — говорил тот, дружелюбно похлопывая его по плечу, — ты молод, вся жизнь у тебя впереди... какого дьявола ты там один в углу сидишь! Если тебя девушка бросила — что ж, и такое бывает, — другую себе заведешь. Чего-чего, а уж для такого парня, как ты, женщины всегда найдутся».

Хосечу не стал упираться и с обнявшим его старичком пошел к небольшой стойке.

— Налей всем, угощаю, — сказал он бармену.

А старичок: — То-то же, парень! Вот это по-нашему, совсем другой разговор.

И пустился в философские разглагольствования: «Я что говорю, в жизни ни о чем жалеть не надо, ни к чему это, в конце концов всех черви сожрут, и... привет. Между прочим, у нас в селении один умник был — унылый такой, как ты только что, все о чем-то думал, ходил как во сне,

даже поесть забывал — все мысли его мучили, никак не мог он от них отдохнуть... И знаете, чем все кончилось?»

Столпившиеся у стойки завсегдатаи молча смотрели на старика, ожидая продолжения. «Так вот, представьте себе, кончилось все тем, что в нем завелась моль, нет, вы не смейтесь, ваш покорный слуга этому свидетель, ей-ей, моль начала проникать повсюду — такие серенькие неприметные мотыльки, сначала они появились под мышками, потом поселились в волосах, стали вылезать из ушей, из ноздрей, а когда он заговаривал, то сыпались прямо изо рта. Вокруг него клубились тучи моли, моль заполонила все селение, в двух шагах ничего не разглядишь, и...»

Здоровяк с осевшим голосом захотел узнать, чем дело кончилось.

— Закругляйся, дед. Что дальше-то было?

— А я почему знаю? Ну ты, — обратился он к бармену, — наливай нам выпивку, этот славный парень всех нас угощает.

Туман сгустился еще сильнее. Окруженный призрачным размытым миром, Хосечу не спеша спускался к центру города. На узких улочках орали ошалевшие от ревности коты. На пропитанных влагой сквериках — деревья с облетевшей листвой. Свет фонаря на углу с трудом пробивался сквозь туман. Колкие дождевые капли вскоре стали превращаться в рыхлые снежинки, таявшие на лету. Хосечу прислонился спиной к двери парадного и ощутил, как его охватывает тоска. Похолодало. Снежные хлопья становились все гуще, запорошили асфальт у его ног. Он пошел дальше словно одинокая призрачная тень. Потом завернул за угол и тут почувствовал, как в бок ему уперся ствол пистолета.

— Иди вперед, сосунок, и не вздумай пикнуть.

Он сразу узнал голос Усатого.

— Отвали, скотина! — Молниеносным, как выстрел, движением Хосечу ударил локтем по руке Усатого. — У тебя, цыган, кишка тонка со мной сладить!

Остолбенев от изумления, Усатый растерянно уставился на «парабеллум» Хосечу, глядевший ему прямо в лицо. Его собственный пистолет валялся на асфальте.

— Ладно, заberi свою пушку и вали отсюда. Скажи Зину, что я скоро приду. У нас есть о чем поговорить.

*Я поднимаюсь и говорю:*

*— Подумайте только, до чего вы докатились. Вы же не просто меня убьете: ты убьешь брата, ты — любовника, ты — друга.*

*Говоря это, я попеременно смотрю на Микеля, на Гайолу, на Зина — они не отрывают глаз от четырех шаров, не смея взглянуть мне в лицо.*

*— Вы готовы уничтожить даже то, что больше всего любите.*

*Зин здоровой рукой поддерживает раненую. Он сжимает губы, словно проглатывает слюну.*

*— Придется тебе подождать в той комнате,— говорит он.— Сейчас мы будем бросать жребий, кто...*

*Микель сжимает кулаки и кричит так громко, что мы все, кажется, оглохнем:*

*— Дай ему сказать до конца!*

*Я не хочу, чтобы боль, которую он испытывал из-за вынесенного мне приговора, воспринималась им как своего рода возмездие. Ненавижу мщение. И я говорю, стараясь его успокоить: «Ничего особенного не случилось, Микель. Теперь, правда, нет смысла отрицать очевидное: ты или Гайолита приговорили меня к смерти. Но это не имеет никакого значения, Микель. Может, ты мне и не поверишь, но я хочу сказать тебе, что это меня вовсе не огорчило, клянусь, я говорю правду. Я даже не исключаю, что вы оба опустили в мешок черные шары, а Усатый в последний момент сжалился надо мной. Или Зин. Но и это неважно».*

*Гайолита спрашивает изменившимся, глухим голосом:*

*— Что ты хочешь сказать?*

*— Единственное, что может искупить мое предательство,— это принятие смерти из ваших рук. И потому все остальное не имеет значения.*

*Я улыбаюсь ей, и она в моей улыбке читает то, что понятно только нам двоим: «Нам было хорошо в постели, ты не станешь отрицать этого. Но знаю, ты согласишься со мной, если я скажу, что и эта радость оборачивалась для нас пыткой. Мы хотели забыться, но неистовство нашей страсти было бессильно рассеять тени тех несчастных, у кого мы отняли жизни. Думаю, твоя ненасытность в постели, безумство твоей плоти, равно как и твое отчаяние,—*

все оттого, что ты знала: тебе никогда и никого уже не полюбить по-настоящему. А я, Гайолита, был противен сам себе, ибо, обладая тобой, вспоминал ту, другую, залитую лунным светом, которой навсегда лишился. Отчего это могло случиться, Гайолита? Скорее всего оттого, что в тот самый день, когда я из «парабеллума» Микеля выстрелил в Санромана, я на деле совершил самоубийство. Я стал мертвецом, Гайола, это мертвец сжимал тебя в объятиях и, овладевая тобой, проникая в тебя, не мог избавиться от звенящих в ушах слов полковника: «Что вам угодно? Что вам угодно? Что вам угодно?» Могильные черви копошились в нашей постели, Гайолита».

— Хочу извиниться перед вами. Попросить у вас прощения. Без всякой патетики, разумеется, скажем, как если бы по неосторожности наступил вам на ногу или пролил на вас за столом соус. Думаю, вы меня поймете. Мне же прощать вам нечего, я могу лишь поблагодарить вас за то, что вы сделаете для меня. Но сделайте все как следует, чисто. Это единственная моя просьба к вам. Не заставляй меня мучиться, Микель, прошу тебя, только без нервов. Ты слышишь меня?

Зин наконец-то поднимает голову, смотрит мне в лицо.

— Брату твоему не придется приводить приговор в исполнение,— говорит он.

Я улыбаюсь ему.

— Кто бы из вас ни нажал на крючок, он — мой брат. Хочу, чтобы вы все это поняли.

И тут мы услышали, что звонит телефон.

Все еще не доверяя Усатому, скрывшемуся в тумане, он немного переждал, а затем пошел дальше вниз по улице в сторону центра. Туман постепенно рассеивался. В старом городе было пустынно. Снег перестал падать, но заметно похолодало. Время от времени какая-нибудь из таверн на узкой улочке настезь распахивала двери и являла взору свое светящееся чрево. Тогда до настороженного слуха Хосечу доносился громкий смех, нестройные звуки хорового пения.

Он не смог устоять перед искушением подойти к реке и, спустившись по глинистому откосу, вскарабкался на волнорез. «Может, это был бы лучший выход?» — подумал он,

представив себя плывущим среди отбросов и нечистот подобно тому похожему на куклу несозревшему человеческому плоду, вид которого так поразил его воображение в детстве. Его заворожил хриплый рев воды в реке, вздвнувшейся от дождей. Он смотрел, как вода бьет о берег, словно щелкает бич пастуха, как вдали, за первым пролетом моста на воде возникают буруны. «Стыдно, Хосечу, я от тебя такого не ожидал»,— подытожил он вслух, ощутив к себе презрение.

Он пошел от реки, утопая ботинками в полузаледевшей грязи. Затем с трудом, задыхаясь, одолел крутой подъем. «Стареешь, брат»,— пробормотал он и зашагал дальше по течению реки. Всего в нескольких десятках метров светящиеся фары автомобилей сметали темноту с набережной, как сильная струя из шланга смывает мусор с тротуара. Внезапно за его спиной резко затормозила машина. Он обернулся, его ослепил мощный луч прожектора. «Ну вот и они»,— подумал Хосечу, увидев, как в луче яркого света к нему приближается черный силуэт полицейского. Он различал чуть сдвинутую набекрень фуражку, приклад автомата. И все же продолжал стоять недвижно, ожидая какой-нибудь оплошности врага, и дождался ее — тот на мгновение замешкался перед лужей. Но этой тысячной доли секунды хватило Хосечу, чтобы перемахнуть через парапет и очертя голову прыгнуть вниз, в пустоту. Вслед ему засвистели первые пули. «Я мог бы пристрелить его,— подумал он, вскакивая на ноги,— но не хочу больше никого убивать». И снова зазвучали автоматные очереди — стреляли вслепую. Теперь он думал лишь об одном — во что бы то ни стало надо бежать. И он бежал, бежал по скользкому берегу, стараясь оторваться подальше от тех, кто был там, наверху. «Для чего человек создан? — мелькнуло у него в голове, и он ответил себе: — Чтобы бежать, бежать, бежать...» Как ни странно, ему вдруг захотелось рассмеяться. «До чего же удивительно человек устроен»,— подумал он на бегу, а ноги сами несли его неведомо куда сквозь кромешную тьму. «Беги, Хосечу, беги, пока не сломаешь себе шею, живей перебирай ножками, окаянный грешник». Когда он на секунду остановился, чтобы осмотреться, сердце готово было выскочить из груди. «Прекрасная мишень»,— отметил он, различив голову полицейского над па-

рапетом, но не почувствовал никакого желания стрелять. «Надо выбираться из этой мышеловки», — сказал он себе и снова бросился бежать. Теперь ему помогало то, что невесть откуда стал пробиваться слабый свет, да и глаза его к темноте привыкли. Он подумал, что его, похоже, берут в кольцо. «Еще собак-ищеек привезут, сволочи, надо спешить». И он метнулся к невысокой насыпи, подступавшей к самой набережной: «Надо подняться на нее, Хосечу, это твой единственный шанс!» Взбежав на насыпь, он прыгнул и ухватился за ветку мощного дерева, росшего неподалеку, легко взобрался по ней, ловко спрыгнул на тротуар по другую сторону парапета и сразу плашмя упал на асфальт. Ну а теперь что? Пока полицейские не разобрались, куда он подевался, надо бежать дальше. За его спиной послышался усиленный мегафоном голос: «Никуда тебе от нас не скрыться, так что выходи — руки вверх и без глупостей!» Он пополз по-пластунски к веренице автомобилей, припаркованных у тротуара. Ему вспомнилась Гайолита — будь она здесь, не было бы никаких проблем. Он весь покрылся потом, ободранные ладони горели. Тут он заметил, что «форд-фиеста» рядом чуть покачивается. Приподнявшись на руках, он заглянул в машину: так и есть, на переднем сиденье парочка голубков.

Он постучал по стеклу дулом пистолета. Энергично качнул головой — открывай скорей, а сам подумал: «Побаловался, парень, и хватит».

Дверца приоткрылась, и он сунул юноше под нос «парабеллум».

— Не двигаться! Ты, красавица, перебирайся назад. И чтоб не пикнула, понятно?

Парень смотрел на него испуганными глазами.

— При мне только две тысячи песет, — сказал он, робко поднимая руки.

— А у меня больше. Деньги мне не нужны, не беспокойся.

Он повернулся к девушке, переползавшей через спинку переднего сиденья. Она была полураздетая.

— С вами ничего не случится, если вы мне поможете, — сказал он. — Перелезай на заднее сиденье и замри там. Чтобы ни звука. Иначе придется твоего дружка пристрелить.

Что-то путалось в ногах — женские трусики. Нагнувшись,

он поднял их с пола и бросил назад девушке.

— Надень,— сказал он. И добавил: — Не дело девушке являться домой без трусиков. Теряй что угодно, только не трусики. Заруби себе это на носу.

Поначалу все шло хорошо, но, когда они въехали на мост, Хосечу заметил, что в их сторону двинулась патрульная машина.

— Нажми на газ,— приказал он.— И не вздумай выкинуть какой-нибудь номер. Клянусь, схлопочешь пулю.

Вой сирены, казалось, прилип к задним колесам «форда-фиесты», чьи фары врезались в туман, отбрасывая его по обе стороны машины.

— Жми сильнее, приятель. Нам нужно перескочить мост, пока они его не перекрыли.

Он подумал, что у полиции под рукой рация, и ткнул пистолетом в ребра водителя:

— Жми до самого упора, малый, как в гангстерском фильме.

— Я только недавно права получил.

— Неважно. Ты жми. Главное, не отвлекайся. И забудь про светофоры. Я за все плачу.

— За что?

— Я имею в виду штраф.

Ему приходилось одновременно успокаивать хнычущую девушку («А ну-ка, замолчи, не действуй на нервы!»), вглядываться в туман (из него в любой момент могла выскочить какая-нибудь машина, и тогда все полетит к чертям), подбадривать порядочно струхнувшего парня:

— Быстрее, быстрее, у тебя прекрасно получается.

Как он и опасался, на той стороне моста их дождалась другая патрульная машина.

— Ну вот и они,— сказал Хосечу.— Сворачивай направо.

— Туда нельзя. Движение только в обратную сторону.

Он снова ткнул его в бок пистолетом:

— Делай, как тебе говорят. И не бойся. Вот так. Теперь налево. Пока они не пришли в себя, мы на проспект выскочим.

Пули застучали по машине, на них посыпались мелкие осколки стекла.— У тебя все в порядке? — спросил Хосечу перепуганную, скулящую девчонку.— Попали в тебя или нет? Отвечай, черт побери!

— Нет.

— Тогда вперед.

Широкий проспект был забит автомобилями. Хосечу высунул в окно руку с белым платком и стал им размахивать: «Давай, нажимай! Пусть думают, что мы раненого везем». Одну за другой обгоняли они шедшие впереди машины. «Жми на сигнал, сигнал из всех сил!» — а за ними на полной скорости мчалась полицейская машина.

— Они нас догоняют! — испуганно крикнул парень.

— Теперь это не страшно. В этой суতোлке они стрелять не решатся. Видишь тот угол? Поворот на площадь?

— Да.

— Прекрасно. Как повернешь, резко затормози, а потом снова рвани вперед. Но только рвани как следует, не то я вас обоих пристрелю.

Хосечу взялся за ручку двери и подождал, пока машина начнет поворачивать за угол. «Вот теперь нас не видно», — сказал он и, как только машина затормозила, выпрыгнул из нее...

— Гони!

Он сумел удержаться на ногах, оказавшись на тротуаре, более того, даже успел заметить, как патрульная машина пролетела дальше, преследуя двух голубков.

На другой стороне площади выстроилось несколько такси. Он не спеша подошел к стоянке и, быстро оглядев-шись, сел в одну из машин.

Пятнадцать минут спустя он входил в квартиру, где находилась группа.

*Пять телефонных звонков. Затем тишина.*

— *Ровно пять, как условлено,— говорит Усатый.— Значит, кто бы это ни был, снова позвонит.*

*Зин поворачивается в его сторону и презрительно смотрит на него, его взгляд говорит: «Это и без тебя все знают, цыган». Никто не двигается с места. Только Гайола подошла к Микелю, словно ищет у него поддержки. «С чего бы это? — думаю я.— Значит, она чувствует себя виноватой? Неужели она положила черный шар? А может, нет?» Сомнения одолевают меня. А что, если она знает, что Микель проголосовал за мою казнь, и подошла к нему, чтобы утешить? Да, вполне может статься, что именно он*

положил черный шар. Это в его духе. Он всегда был такой. Впрочем, не исключено, он просто не хочет, чтобы меня выпустили, а потом бы охотились за мной и пристрелили на улице как бешеную собаку. Гайолита не склонна к такой рассудочности. Я ее хорошо знаю. Не говоря уже о том, что она никогда не теряет надежды. Странно только, что после голосования она ни разу еще не посмотрела мне прямо в лицо».

Усатый обходит стол, забирает свою пушку и сует за пояс. Потом берет с буфета кусок лакрицы. «Снова хочет бросить курить,— думаю я и улыбаюсь насмешливо.— Сто лет прожить надеется», а он уходит в комнату, где стоит телефонный аппарат.

Зин спрашивает ледяным тоном:

— Далеко ли направился, цыган?

В ответ из комнаты раздается сиплый голос Усатого: «И ты туда же? Никакой я вам не цыган, слышите вы, сволочи?» Он возвращается и злобно смотрит на меня — еще бы, это я ему кличку придумал,— а я отворачиваюсь от него: «пошел ты куда подальше».

Зин прерывает его:

— Отвечать по телефону буду я. Ты сам сказал, что признаешь меня ответственным за группу, вернее, за то, что от нее осталось.

Микель:

— У нас тут нет начальников. Хочешь подойти к телефону — подходи, но не бери на себя лишнего. Еще чего не хватало.

У всех нервы на пределе. Одна лишь Гайолита более или менее спокойна, только не знает, чем себя занять. «Включи-ка транзистор,— говорю я ей,— послушаем, что там скажут об этой группе-призраке, что Вильякорту ликвидировала». Она берет в руки приемник, но упорно избегает моего взгляда. «Неужели я так плохо знаю Гайолу?» — спрашиваю я себя.

Усатый, видно, с трудом выдерживает груз собственного тела. Никогда я не видел его стоящим на ногах как положено людям. Всегда он ищет, к чему бы прислониться спиной, к двери, к стенке, дереву, к чему попало. Вот и сейчас он стоит, оперевшись спиной о дверной косяк комнаты, в которой Зин дожидается звонка. Уставился в потолок,

покусывает лакрицу, руки на груди скрестил, как какой-нибудь Джон Уэйн в ковбойском фильме, ногу за ногу заложил, глаза уставились в одну точку. На него сбоку падает рассеянный свет, придавая лицу зеленоватый оттенок. «Неужели это ты, цыган,— думаю я,— бросил белый шар, чтобы потом доставить себе удовольствие застрелить меня на улице? Ты ведь у нас охотник, сам как-то признался, какая именно охота тебе больше всего по душе... Как ты тогда сказал, дай припомнить? «Хорошо охотиться на крупного зверя, но нет лучше охоты, чем охота на человека». Вот твои подлинные слова. Ну, цыган, я, кажется, разгадал эту загадку. Гайола и мой брат положили черные шары. Теперь мне все ясно. Два черных шара — их, еще один Зина, итого — три черных шара. А белый — твой».

Зин говорит Микелю:

— Хочешь — уходи. Мы все сделаем, как решили,— это уж наша забота.

— Ну и злобная же ты тварь,— отвечает мой брат, и я вижу, как побелело его лицо, только лоб краснеет и покрывается вязким потом — такое бывает с ним перед акцией, когда ему предстоит стрелять.

— Плюнь, не принимай так близко к сердцу,— говорю я ему. Усатый в проеме дверей смотрит на меня с ненавистью, того и гляди искры из глаз посыплются. «Почему бы не запереть его в комнате? — спрашивает он, обращаясь к остальным.— Так он, по крайней мере, не будет лезть не в свои дела».

Но никто на него и внимания не обращает.

Губы Зина время от времени кривятся от боли. Раненую руку он держит на уровне груди, ладонью наружу. «Ты мне еще за это ответишь, дрянь!» — неожиданно набрасывается он на Гайолиту. Та пожимает плечами. «Я же извинилась перед тобой»,— отвечает она, невозмутимо лузгая семечки и не отнимая транзистор от уха.

— Может, это Пападок звонил? — говорит, ни к кому не обращаясь, Усатый.

— Вполне может быть, что кто-то позвонил по ошибке,— отвечает Зин. А я думаю, что белый шар, возможно, положил Зин. Все-таки в детстве мы были как родные братья. Позже, повзрослев, мы часто в разговорах возвращались к нашим детским годам, словно цепью прикованные к тем временам,

не раз вспоминали наши лихие проделки и многое другое, что невозможно забыть, как бы дурно ни сложились впоследствии наши отношения. Даже теперь, когда между нами возникла такая ненависть, вполне можно предположить, что Зин решил мне сохранить жизнь, хотя бы на время. С другой стороны, если он и правда любит Бегоньиту, чувствует себя виноватым перед ней, не исключено, что он положил белый шар ради нее. Я не верю в беспросветное зло. Какой бы мрак ни царил в иной душе, всегда найдется щелочка, куда может проникнуть луч света. Было бы просто глупо считать, что Зин — отъявленный злодей. Зин таков, каким его сделали обстоятельства, то же самое относится и ко мне. Потому я допускаю эту версию с белым шаром. В таком случае я обязан приговором Усатому. Ну, и еще Гайолите и Микелю, ясное дело.

Микель подходит ко мне.

— Тебе что-нибудь нужно?

— Да. Сделайте мне обезболивающий укол. Вся рука до плеча болит.

Он выходит в другую комнату за аптечкой. Возвращается с тазиком, и Гайола ему говорит: «Оставь, я сама сделаю». Впервые после голосования ее взгляд встречается с моим. «Нет, Гайолита не совершала этой подлости», — говорю я себе, возможно, потому, что мне очень хочется убедить себя в этом. Но, продолжая размышлять, я прихожу к заключению, что никакой подлости тут нет. Просто естественное желание, чтобы все эти муки быстрее кончились. Я прислушиваюсь: неужели это Микель плачет где-то за стеной? Усатый смотрит на меня с укором, Гайолита поворачивает голову. Со стороны коридора доносятся приглушенные всхлипывания.

Судя по всему, Усатый искренне взволнован, он принимается упрекать меня: «Ну и натворил же ты дел, Хосечу!» На этот раз он не называет меня «сосунком». С возгласом: «Ну и жизнь, будь она проклята!» — он исчезает в темном коридоре. Еще бы, Микеля у нас все любят.

Гайолита подходит ко мне со шприцем в руках.

— Я сама тебе рукав засучу, — говорит она. А я глубоко вдыхаю исходящий от ее тела запах. «Странно все-таки человек устроен, — говорю я ей, — почему-то на этот раз мне тебя не очень хочется».

— Ну как ты так можешь, Хосечу?

— А тебе, скажи, хочется?

— Убери руки.

Игла впивается мне в мышцу, а запах Гайолиты внезапно пробуждает во мне неудержимую чувственность. Дай мне волю, я бы прямо тут же раздел ее, снимал бы с нее понемногу все, что на ней надето, оставил бы в чем мать родила, ласкал бы ее тугие груди, пока сосцы ее не затвердели бы, прильнул бы к ним губами, словно они сладчайшие ягоды.

— А правда — тебе не хотелось бы побаловаться с кандидатом в покойники?

— Что тебе от меня нужно, говори прямо.

— Все. Сейчас я хочу от тебя всего.

— Зачем ты меня мучаешь?

— Поцелуй меня.

Гайолита оглядывается, убеждается, что мы одни, и подставляет мне полураскрытые губы. Я приникаю к ним, потом осушаю слезы с ее лица. «Делай со мной что хочешь, малыш», — говорит она и приподнимает свитер. Я прячу лицо на ее обнаженной груди, свободной рукой глажу ноги под юбкой.

Она запускает пальцы мне в волосы, перебирает их и шепчет на ухо:

— Еще...

Через несколько секунд она со стоном падает мне на руки, всхлипывает.

— Хочешь, я скажу им, чтобы они оставили нас одних, — предлагает она.

— Они смеяться будут.

— Но ты — хочешь?

Я молча киваю, а она, услышав приближающиеся по коридору шаги Усатого, встает. «Не зря рассказывают, — думаю я, — что у приговоренных к смерти пробуждается чувственность. Они равнодушны к еде, к питью — им нужна только женщина. Отсюда и старый обычай приводить проститутку к преступнику накануне казни».

Усатый озабоченно отмечает:

— Третий час пошел.

— Снег продолжается? — спрашиваю я.

— Что ты. Луна всю светит.

Входит Микель. Он постарел. Вид у него совсем усталый.

*Зачем его мучить, думаю я, и решаю ничего ему не говорить. Но Гайола, привстав на цыпочки, что-то шепчет ему на ухо. «Что он о тебе подумает?» — мелькает у меня в голове. Но тут же решаю, что нет ничего плохого в том, что мне хочется напоследок побыть с женщиной,— это ведь так естественно. Правда, я сегодня уже побывал в постели со случайной знакомой, но, честно признаться, ни к чему это было. Чистая механика и ничего больше. С Гайолитой — совсем другое дело. И я глубоко и горестно вздыхаю при мысли о том, как прекрасно было бы побыть с Бегоньей.*

*Я ощущаю сонную истому, видимо, от укола. Слышу чей-то голос — кажется, это Зин,— он говорит, что надо спешить. Думаю, что при подобных обстоятельствах Бегоньита мне бы в этом не отказала. Но я, я бы разве согласился? И решился ли я бы вообще такое ей предложить? Да, как мы странно устроены. В полусне я вижу ее облитое лунным светом тело, снова слышу свой голос: «Это будет лучшая твоя фотография», опять вижу ее робкую улыбку... Господи боже мой, как же я тебя люблю, как я хочу тебя, Бегоньита.*

Усатый держал ноги в тазике с горячей водой. Он не заметил, как вошел Хосечу, и потому вздрогнул, услышав его вопрос:

— У тебя что, цыган, ноги обморожены?

— Нет, у меня руки чешутся тебя придушить.

— Ну, это меня не удивляет.

Хосечу, даже не взглянув на него, прошел к спальне и чуть не столкнулся в дверях с Гайолитой.

— Какие новости?

— Никаких.

Он спросил про Зина.

— Не знаю. Может, он Пападока разыскивает.

— Пападока или меня?

Гайолита посмотрела на облепленные грязью ботинки Хосечу: «Где это ты был, можно узнать?» Он рассказал ей обо всем, что с ним случилось после того, как они расстались.

Хосечу:

— Тебе разве цыган не рассказывал о своем подвиге? Он же, скотина, хотел меня задержать и на поводке сюда привести.

Глаза Гайолиты заулыбались.

— Нет, он ничего не сказал, но будь уверен, он тебе это еще припомнит. Сам увидишь.

Она помогла Хосечу снять ботинки, и он пошел под душ.

Стоя под прохладной струей, он еще раз обдумал свое положение. Дела, конечно, сложились довольно скверно, но он все же не терял надежды, что Пападок найдет способ избежать худшего. «Но если он не появится,— размышлял Хосечу,— эти типы расправятся со мной, и особенно будет стараться Зин». Ему пришло в голову также, что надо бы поговорить с Зином начистоту, посоветовать ему: «Бросай все это к чертовой матери, решайся, пока не поздно, нельзя губить свою жизнь. А если ты что-то против меня имеешь, если считаешь, что я в чем-то виноват перед тобой, то так прямо и скажи, черт побери, давай внесем во все ясность».

Когда он вошел в спальню, его встретила мрачно-унылая физиономия Усатого.

— Кто позволил тебе войти сюда?

— Ну ты, потише на поворотах.

— Что тут происходит? — спросила Гайолита, прибежавшая на громкие голоса. Увидев Хосечу, она с трудом удержалась от смеха.— Дай ему хотя бы спокойно одеться,— сказала она Усатому.

— Пусть он мне сначала свой пистолет отдаст. Он его, сволочь, припрятал где-то!

Хосечу, сжимая кулаки, грудью пошел на него, он даже не заметил, как соскользнуло с него полотенце, обязанное вокруг бедер.

— Я тебе морду в кровь разобью, цыган!

— Ох, как ты меня напугал.

Все же Усатый подался назад, злобно покусывая лакрицу.

— Пистолет я отдам, когда все наши соберутся. Я сдамся им. Чего тебе еще надо? А тебе я вручать пистолет не собираюсь. Что же ты не отнял его у меня тогда? Слабо было? Так вот, имей в виду, я готов его вручить кому угодно, ей, например,— он показал на Гайолиту,— Зину, моему брату, любому из наших, но только не тебе, чтобы ты потом не бахвалился, будто тебе удалось меня обезоружить. Понял, цыган?

Он продолжал наступать на Усатого: «Убирайся с глаз долой, не выводи меня из себя!»

— Клянусь, ты мне за все ответишь,— огрызнулся тот.

Безвыходность своего положения Хосечу осознал лишь после беседы с братом.

— Ты играл жизнью и проиграл ее,— сказал Микель.

— Знаю.

— Такие вещи не проходят безнаказанно.

— Согласен с тобой. Я готов за все ответить, поэтому и пришел сюда. Я вам сдаюсь, а вы уж решайте.

Микель расхаживал по спальне из угла в угол: «Да в том-то и беда, что ты не можешь ни за что отвечать, потому что отроду был человеком безответственным. Из-за тебя мы все в дерьме! — Он глянул на Гайолу: — Будь любезна, уйди отсюда! — Микель метался по комнате, как зверь по клетке.— Неужели ты не можешь понять,— обратился он снова к брату,— что это гораздо хуже, чем попасть под военный трибунал. Там тебе хоть дают защитника, существует какой-то кодекс, заседают судьи. Ты имеешь право на апелляцию. Принимается во внимание твой послушной список и все такое. Тут же ничего этого нет. Тебе не будет пощады. Тот, кто предал Организацию, может считать, что его уже нет в живых. Ты донес на нас, виноват в гибели товарища и во многом другом. А я ведь тебя предупреждал, когда ты решил вступить в Организацию: «Теперь забудь про свои эмоции. Для нас это недозволенная роскошь. Простись с прежними привычками». Погибли бы, говоришь, две ни в чем не повинные женщины? Мы тоже об этом сожалеем, ведь мы же не звери. Но как нам прикажешь действовать? Ведь иного выхода нет. Они нас не жалеют! У того же Вильякорты, которого ты предупредил, хватило времени натравить на нас всю полицию. Получается, нас можно преследовать и уничтожать, а мы их должны щадить? Так, что ли?»

— Ты бы посмотрел на этих двух женщин, Микель.

— А ты — на то, как выглядел Колдобика. Его напололам развалили автоматной очередью. Они сами об этом сообщили. Пойми, ты опасен. Ты уже причинил нам зло, но кто поручится, что ты не сделаешь еще больше вреда в будущем?.. Ну, что ответит на это любимчик всей семьи? Что он матери скажет, брату... Почему бы тебе, например, не позвонить сейчас по телефону генеральской дочке или внучке, не попросить их, чтобы они вызволили тебя из западни? Может, они кинутся тебя спасти? Нет, Хосечу, они только носами поведут. Очень, мол, сожалеем, Родина требует того

или другого, а тебя пошлют куда подальше. А потом, в крайнем случае, исповедуются в церкви, получают отпущение грехов и спокойно отправятся в кино.

— Но они же люди!

— Так обратись к ним! Попробуй воззвать к их человечности. Попроси их помочь тебе, потому как я помочь тебе ничем не могу.

Он схватил его за руки и резко встряхнул: «Неужели ты не понимаешь, что тебя ждет? Тебе даже не дадут пустить себе пулю в лоб. В лучшем случае тебя выбросят и будут гонять по улицам, как лисицу по полю, пока не затравят. Они найдут тебя, где бы ты ни был, тебе нет спасения, можешь мне поверить. Я уж не говорю о том, что и полиция идет по твоим следам».

— Я могу потребовать, чтобы меня судили. У меня есть на это право.

Микель сел на край кровати, придвинулся ближе к брату.

— Ты волен поступать, как хочешь. Но будет суд или не будет, все кончится пулей в затылок.

Он крепко обнял Хосечу. «Я хочу только, чтобы ты понял: я ничего для тебя теперь сделать не могу, думаю, и Пападок не поможет тебе — он не знает пощады к предателям. — Он поднялся и ударил кулаком в стену с такой силой, что боль отдалась у него в затылке: — Чертов мальчишка! Так ничему тебя, засранца, жизнь и не научила! Что ты со мной сделал, ты хотя бы понимаешь? Оставил меня одного, чтобы я мучился из-за тебя до самой смерти».

В этот момент вошел Зин. Он даже не успел снять перчатки и теплую кожаную куртку на меху.

— Кто-то, мне послышалось, здесь кричал, — сказал он угрюмо. А Хосечу без всяких предисловий: «Послушай, Зин, я давно хотел с тобой поговорить, хочу узнать, что ты против меня имеешь...»

Он сказал это подчеркнуто дружелюбно, но Зин посмотрел на него холодно, как бы отгородившись от него стеной презрения.

— Мы ведь друзья детства, Зин.

— Может быть, но мне с тобой не о чем говорить.

Он повернулся к открытой двери и громко позвал Усатого.

— Принеси наручники, — сухо приказал он, как только тот появился. — Надень их на этого.

У Хосечу перехватило дыхание, сердце упало. «Но, Зин...» — он осекся, поняв, что остался совсем один: брат его вышел из комнаты с отрешенным и непроницаемым видом, своим молчанием как бы подтверждая справедливость принятого только что решения.

Усатый мигом вернулся с наручниками.

— Пистолет все еще при нем,— сказал он и весь напрягся, готовый броситься на Хосечу. Но тот засунул руку под матрас и вынул оттуда оружие.

— Учтите, что я сам сдаю оружие.

— Ну вот, еще один геройский жест нашего красавчика. Этот театр тебе не поможет.

— Что с тобой, Зин, я тебя не узнаю.

— Бывает, и самому себя узнать трудно. Прицепи его к раме, Усатый.

Хосечу протянул левую руку, но Усатый грубо толкнул его, так что он упал на постель. В этот момент в комнату ворвалась Гайола, задыхаясь от ярости: «Что вы тут затеяли, Зин? Кто вам дал право приковывать его наручниками? Вы же как фашисты поступаете, сволочи!»

Хосечу знаком велел ей замолчать и, дождавшись, пока Зин с Усатым выйдут из комнаты, попросил Гайолу достать ему дорожную сумку, лежавшую на нижней полке ночной тумбочки.

— Не сдавайся, малыш. Не дай себя запугать.

— Сейчас надо о другом думать. Оставь меня, пожалуйста, одного.

Как только Гайола вышла, прикрыв за собой дверь, Хосечу, порывшись в сумке, достал оттуда маленький томик с коричневой обложкой. Это была Библия.

*При первом же телефонном звонке голова у меня немного проясняется. Сквозь смыкающиеся ресницы я вижу, как Зин выбегает, голос его царапает мне барабанную перепонку: «... мы уже начали за тебя беспокоиться». Я напрягаюсь, стараясь расслышать продолжение разговора, но до меня доносится лишь повторяющееся односложное «да... да... да...». Выслушивает указания, думаю я и спрашиваю себя, не с Пападоком ли он разговаривает. Прохладные пальцы касаются моего лица. Легкие женские пальцы. Неужели Бегоньита? Еще чего захотел. У меня вырывается короткий,*

хриплый, похожий на стон смешок.

— Рука болит?

Я узнаю голос. Это Гайолита.

— Немножко. Знаешь, я что-то от этого укола обалдел. Что там происходит? — спрашиваю.— Почему это Микель и Усатый вытянулись по стойке «смирно»? С кем разговаривает Зин?

Даже дыхание Гайолиты болью отдается у меня в ушах:

— Кажется, это Пападок. Еще есть надежда.

Она говорит «надежда». Но на что может надеяться приговоренный к смерти в свою последнюю ночь? Разве что на то, чтобы переспать с Гайолитой, на большее рассчитывать не приходится...

— Мне хочется позабыть обо всем.

— Ты и позабудешь.

— После того как вы меня казните, ясное дело. Кстати, Гайолита, я все хотел тебе задать вопрос насчет шаров.

— Представляю какой. Не надо, не задавай. Только что, пока мы не сделали тебе укол, ты вел себя как настоящий мужчина. Ты молодец, Хосечу. Но, пожалуйста, не порть теперь все...

— Иными словами, я угадал, ты голосовала...

Гайолита удаляется, покачивая бедрами, как всегда, когда рассердится. Зин продолжает твердить по телефону «да... да...» («Как заведенный»,— думаю я). И я смеюсь над собой: они тебя накачали наркотиками, болван, якобы чтобы утихомирить боль в руке, а на самом деле готовят тебя к путешествию в мир иной.

Я подзываю Микеля взглядом.

— Какую вы мне дрянь вкололи?

Он, как только что Гайолита, тоже дотрагивается пальцами до моего лица.

— Какое-то успокоительное.

— Оно на меня хорошо действует. Когда придет время, вколите мне дозу посильней. Тогда я ничего не почувствую.

— Знаешь, кто это звонит?

— Нет.

— Пападок.

Я тупо повторяю: «Пападок, Пападок...» — и сквозь ресницы вижу, как Зин выбегает из комнаты, где разговаривал с Пападоком,— до чего же тяжелые у меня веки, будь они

прокляты,— но на этот раз я совершенно отчетливо слышу его голос...

— *Надо покинуть квартиру. Так Пападок велел. Разойтись в разные стороны. Потом скажу вам, кому куда направиться. Запрещено приближаться к квартире Пападока. Носить при себе оружие. Запрещены контакты с товарищами, телефонные звонки. До нового приказа вообще на улицу не выходить.*

*Зин замолкает. Тишина давит мне на мозг, он будто наливается свинцом.*

*Звучит голос моего брата:*

— *А где сейчас Пападок?*

— *Не знаю,— говорит Зин.— Он сказал, что скоро сюда явится, но никого здесь, кроме этого, не желает видеть.*

*Нацеленный в мое лицо указательный палец Зина представляется мне сквозь ресницы огромной гусеницей из папье-маше, каких показывают в фильмах про чудовищ. Ноготь его как острое копыта, направленного мне между глаз, которые поневоле начинают косить. «Никого здесь, кроме этого, не желает видеть» — звучит у меня в ушах. Речь идет обо мне — «этот» и есть я.*

— *Принесите воды.*

— *Тебе из-за укола пить хочется,— говорит Микель.*

*Я вижу, как Гайола бежит на кухню. Отмечаю про себя, что лицо Усатого сияет. «Ну что, цыган, а ты, видать, думал, Пападок копыта откинул?» — спрашиваю его гнусавым голосом.*

— *Пападок никогда не откинет копыта. Он бессмертный.*

*Усатый с торжествующим видом бросает на пол кусочек лакрицы, идет к буфету и берет там сигару «каликенью». Откусив кончик, он сплевывает его прямо на пол («Ну и свинья», — думаю я), а Гайолита подносит мне к губам стакан с водой.*

— *Какое внимание,— говорю я ей.— Можно подумать, что я умирающий.*

*«Ты и есть умирающий,— думаю я,— неужели тебе не ясно, идиот несчастный». Гайолита говорит мне, что Зин распорядился всем собрать свои вещи и поскорее покинуть квартиру.*

— *Усатый подожжет ее,— говорю я Гайоле.— У него тут бутылки с «коктейлем Молотова».*

— Ничего Усатый не сделает. Не беспокойся. Ты останешься здесь, будешь дожидаться Пападока, но смотри, будь начеку. Да, наручники с тебя снимут. Таков приказ. Так что, может, еще не все потеряно.

— Не золоти пиллюю.

— Тебе надо быть похитрей, малыш. Борись до конца. Ври, если понадобится! Может, это сработает, все обойдется, и ты просто какое-то время отсидишься в Арденнах. Или где-нибудь еще.

— Врать я не буду. Никому. И особенно Пападоку. Он не заслужил такого.

— Он-то как раз самый худший среди нас. У нас, женщин, особый нюх на людей, и я давно знаю, что он хуже всех нас, вместе взятых.

— Пападок?

— Если представится возможность прикончить его — прикончи. У него мягкие повадки, но на самом деле он зверь.

— Никого больше убивать не стану. Я верю в Бога, Гайолита. И раскаиваюсь в том, что делал до сих пор.

— Да, да, понимаю. Все это хорошо. Но Бог велит тебе сохранять свою жизнь.

— Не верю, что Пападок...

— Вся беда в том, что ты его обожествовал. Не умеешь ты разбираться в людях. Ты их придумываешь. Представляешь такими, какими тебе хотелось бы их видеть.

Гайолиту кто-то позвал, она, оборвав на полуслове, выходит, а я начинаю разговаривать сам с собой, сказывается действие наркотика, который мне вкатили. Потом в каком-то подобии полусна я снова вижу Гайолиту. Она стоит передо мной с кучей денег в руках. «Давай, давай, очнись, парень, возьми пару пачек, спрячь их на себе где-нибудь». Так как я не двигаюсь, она прячет свои сокровища в чемоданчик, затем берет толстую пачку и, расстегнув молнию на моих брюках, бормочет: «Засуну-ка я тебе деньги в трусы».

— Парень с золотыми яйцами,— говорю я ей. Она улыбается.

Став на колени, Гайолита обнимает мои ноги — они совсем ватные. «Давай приходи скорей в себя, малыш... А мы уходим, слышишь меня?»

— Вы уходите,— откликаюсь я.

— Ну да. Послушай, если почувствуешь, что дело с Пападоком оборачивается худо, стреляй в упор. Самая верная цель — голова. Ну ты и сам это знаешь. Целься в голову, понял?

Вместе с пачкой денег она сует за резинку трусов пистолет «файрбёрд».

— Он заряжен. Смелей, малыш. Прощай.

Микель целует меня в лоб, как целуют покойников. Я вижу, как он выходит с чемоданчиком, за ним идет нагруженная узлами с одеждой Гайолита. Сердце мне подсказывает, что мы видимся в последний раз.

Мужчина в синем рабочем комбинезоне улыбнулся открывшей двери старой служанке. «Извините, что я отсюда вхожу», — сказал он, ставя на пол металлический ящик с инструментом.

— В чем дело?

— Кран заменить. В ванной.

Служанка заворчала, мол, слесаря вот уже три дня ждут, а человек в комбинезоне раздраженно ответил, что очень сожалеет, но слишком много вызовов, будто все краны в одночасье испортились. Вспоминают о водопроводчике в последний момент.

— Хорошо еще, что не на самое Рождество меня вызвали.

— Ладно, идите за мной.

Они миновали белую дверь, прошли по застеленному паласом коридору и вошли в аскетически строгую супружескую спальню с распятием над кроватью...

— Здесь. В ванной генерала.

Человек в синем комбинезоне увидел через открытую дверь спальни в конце коридора приемную. Она была просторная, ярко освещена солнцем, справа рядом с дверью, обтянутой гранатового цвета кожей, стоял письменный стол. По приемной, заложив руки за спину, медленно прошаживался офицер. За письменным столом сидел другой и энергично ударял по клавишам пишущей машинки.

— Вот этот кран. Видите, вовсю течет.

— Ясно.

Служанка вышла, а человек снял комбинезон. Под ним оказался военный мундир. Человек внимательно посмотрел в зеркало, хорошо ли сидит на нем форма, вынул из ящика

для инструментов фуражку со звездой майора и парик из темных с проседью волос. «Сейчас красавцем станешь...» — подумал майор Дауден, надевая фуражку. Он вынул расческу и аккуратно пригладил сзади накладные волосы. Затем приклеил к верхней губе тонкие седые усики и достал из ящика пистолет с глушителем. Покончив с этим, он пристроил комбинезон и ящик для инструментов на верхней полке стенового шкафа.

Майор Дауден предъявил документы дежурному офицеру, сидевшему за машинкой. На них значилось, что он из военной разведки. «Дело весьма срочное», — сказал он тихо, и дежурный записал его фамилию в книге посетителей.

— Подождите секундочку, — сказал дежурный и исчез за дверью генеральского кабинета.

Молодой офицер, прохаживавшийся у двери кабинета, вынул сигарету, а майор Дауден тут же протянул ему золотую зажигалку «ронсон». «Вы уж извините, дело у меня всего на несколько секунд», — сказал он, но офицер ответил, что он — адъютант генерала.

— Я подумал, вы приема дожидаетесь.

— Нет. Решил чуточку ноги размять.

— Там еще кто-нибудь есть?

Капитан пожал плечами: «Я только что поднялся сюда». Открылась обтянутая кожей дверь: «Проходите, майор». Пападок, учтиво поклонившись дежурному, переступил порог, доставая из кармана мундира пистолет. Несколько секунд спустя он выходил из кабинета Вильякорты. «Генерал просил его пока не беспокоить», — бросил он дежурному и, с улыбкой взяв под руку капитана, попросил не отказать в любезности показать ему обратную дорогу. — Знаете, с ориентацией у меня неважно».

— К вашим услугам.

По другую сторону ограды Пападока поджидал черный «сеат», на номерном знаке которого были буквы ЭТ. За рулем его сидел молодой солдат. Машина двинулась вперед, капитан вытянулся по стойке «смирно», а Пападок, взяв под козырек, сказал на прощание: «Спасибо, капитан, вы были очень любезны».

Когда машина выехала на тихую улочку, обсаженную деревьями, уже темнело.

— Все в порядке? — спросил Гойри, боевик из группы

поддержки. Пападок, снимая фуражку, ответил: «Превосходно,— и добавил: — Ну жарница в этой штуковине, как они только в них ходят».

— Повезло нам, что Карлос вчера позвонил,— пророчил Гойри.— Без его помощи нам бы эту операцию не провести.

Пападок прикрыл в знак согласия веки. Да, им, безусловно, повезло, когда один из информаторов Организации, служивший в управлении материального обеспечения Военного губернаторства, сообщил, что кран в ванной генерала протекает. Это была большая удача. Особенно для самого Пападока. Его тщеславие удовлетворено: он добился своего. Он может с полным основанием сказать Хосечу: «Теперь ты понимаешь, что я и без тебя могу обойтись, ты мне не нужен.— И напомнить ему кое-что, о чем он забыл: — Мы непоколебимы в борьбе за победу нашей идеи, за торжество нашей правды, за достижение нашей конечной цели. Мы можем позволить себе роскошь нападать в той точке, которую выберем, в тот момент, когда захотим. Наше правило: бросаться в бой с яростью боевого быка. Обороняться с упорством кабана, скрываться с ловкостью и быстротой волка». «Наш закон — беспощадность»,— подумал он и вспомнил изумление на лице человека, которого он только что застрелил, всадив две пули в голову — тот так и подскочил на кресле,— припомнился ему кусочек мозгового вещества, приставший к серебряной рамке семейной фотографии, и повисший на ниточке правый глаз... Как всегда, когда Пападок лично проводил операцию, он ощутил гордость собой, своими хладнокровием и ловкостью.

— Все оказалось гораздо проще, чем я думал.— Он прикурил сигаретку, в то время как Гойри, захлебываясь от обуревавших его чувств, выражал ему свое восхищение.

— Надо мстить за наших мертвых,— с пафосом заключил молодой водитель.

— Совершенно верно, мертвые отомстить за себя не могут. Это мы, живые, должны творить возмездие за них.

«Сеат» петлял по улицам города, направляясь в сторону автострады. Туман сгущался, в воздухе словно повисло ожидание неминуемого снегопада.

— А о доносчике что-нибудь известно? — спросил Гойри.

— Мы его найдем.

Пападок подумал, что перед ним еще один юноша, исполненный патриотических чувств. Все они так начинают, сначала пьянеют от восторга, а под конец источают злобу и ненависть — одни совершенно опустошенные, другие — сохранив вкус лишь к кровавым расправам, ибо жажда убийства стала у них болезнью.

Проехав несколько километров по автостраде, Гойри остановился на обочине и быстро сменил номерной знак. Те же буквы ЭТ, но цифры другие. Прodelал он все так быстро и ловко, что вряд ли кому-либо удалось это заметить. К тому же туман стоял густой, а машин на автостраде почти не было.

— Езжай через третий выход,— сказал Пападок.— Я тебе скажу, где остановиться.

Удобно развалившись на сиденье, Пападок представил себе блуждающего по городу Хосечу — тень, затерявшаяся в тумане. «А ведь именно он мог стать тем человеком, который мне так необходим»,— подумал он, прикрывая глаза. И сразу же нахлынули обычные видения: растерзанные тела жандармов, «джипы», взлетающие на воздух среди тучи пыли, труп девочки с куклой в руках на скверике. Про Пападока говорили — одинокий волк, но это было не совсем так. Когда он не занимался разработкой очередного плана, не обдумывал детали будущей операции — то есть когда мозг его не был занят интенсивной работой,— к нему являлись трагические призраки — его обычная компания в часы досуга. Другой у него не было. Особенно преследовали они его во сне. И тогда он взывал к Богу — потому-то слово «Господи», повторяемое многократно, часто слышал по ночам Усатый и дрожал от ужаса, как пес, предчувствующий гибель хозяина.

Перед одиноким домом на хуторе, где они остановились, их поджидал старик с прыщами на носу. Пападок велел Гойри переодеться и тут же вернуться в город на пикапе.

— Как Фермин? — спросил он старика, который смотрел на него не узнавая.

— Там он, наверху. Спит. Позвать его?

— Нет, не надо. Я тоже немного подремлю.

Он, так и не сняв мундира, лег на узкую кровать в крохотной комнатухе. Где-то жалобно мычала корова, просив-

шаяся в тепло стояла. «Даже у скотины есть место, где она может чувствовать себя в безопасности,— подумал он,— а где мне найти защиту от призраков?» Именно по этой причине он обычно старался как можно меньше спать. Но на этот раз сон сморил его сразу.

Полчаса спустя он проснулся от еле слышного поскрипывания пола. Попытался взглянуть в темноту. «Это он»,— подумал Пападок, и мышцы его напряглись. Он чувствовал, что кто-то беззвучно приближается к постели. И в тот момент, когда незванный гость бросился на него, он остановил его, взяв на ключ болевым приемом.

Пападок выволок гостя из комнатушки, огромные их тени заплясали на стене, освещенной ярким пламенем из печи.

Сантамария без сил повалился на пол, а Пападок наставил на него пистолет.

— Я так и знал, мразь,— сказал он. Он взвел курок перед испуганными глазами предателя, тот стал просить о пощаде: «Я все тебе скажу, только не стреляй» — и тут же принялся сбивчиво рассказывать, как была разгромлена боевая группа в Мадриде.

— Но я их не предавал.

— Ты сделал это, крыса поганая. И ты предупредил Вильякорту — еще до того, как это сделал Хосечу.

Носком ботинка он сильно ударил Сантамарию по щеке. У того кровь смешалась со слезами. «Ты сделал это, признавайся! За кого ты меня принимаешь, за идиота? Хосечу позвонил в два, но уже к этому времени обе наши группы были окружены. Говори, хорек. А сейчас ты пытаешься прикончить меня».

— Я только хотел тебя разбудить, спросить, не надо ли тебе чего. Клянусь Богом!

— Оставь в покое Бога!

Он нажал на спусковой крючок. Три, четыре, пять раз подряд.

Какая-то невидимая рука сдавила сердце Пападока, не стало сил дышать. Расстегивая ворот мундира, он крикнул, словно доказывая кому-то свою правоту: «Так ему и надо, мрази, шпион проклятый, предатель!» Лицо его стало багровым, глаза налились кровью.

Старик с прыщами, до этого отрешенно смотревший на пламя в печке, подошел к нему.

— Ну и Ферминчик,— сказал он.— А ведь казался парнем что надо.

— Вырой где-нибудь яму и похорони его. Тебе заплачут,— приказал Пападок.

Он сразу успокоился. Привел в порядок мундир, сменил обойму в «парабеллуме» и, аккуратно надев фуражку, сел в машину.

Когда он отъезжал от хутора, пошел густой снег. Час спустя он подъехал к дому, где его ждал Хосечу.

Рассветало.

Меня окликают: «Хосечу!» — и я с трудом приоткрываю веки. Кто-то в военной форме. Стоит передо мной и целится в меня из какой-то странной пушки. Да, странная, хотя из-за наркотиков я не в силах на чем-либо остановить взгляд. И фигура человека в форме двоится в моих глазах. То она появляется, то исчезает, потом я вижу ее, как если бы она находилась за рифленным стеклом. Без четких очертаний. Да, верно, именно так. «Хосечу!» — повторяет знакомый голос, и я поднимаю голову, веки у меня тяжелые, с трудом размыкаю их. По подбородку стекает струйка слюны. Я чувствую, как она задерживается на подбородке, потом капает на ладонь левой руки или, может, правой? Я смотрю на свою обслюнявленную руку, и мне неудержимо хочется заплакать, но не из-за безнадежности положения, в котором я оказался, а из-за того, что так жалко выгляжу, наверное, похож на слабоумного. Человек в форме продолжает маячить передо мной. Как будто его поместили в большой сосуд с водой. Постепенно я различаю ноги, парадные брюки. И ботинки. Черные. Залепленные грязью. «Военные в таких не ходят», — думаю я и пытаюсь поднять голову, чтобы разглядеть лицо человека, который убит и похоронен полтора года назад.

— Я ждал вас, полковник,— с трудом выговаривает мой одеревеневший язык.

И снова знакомый голос: «Я вовсе не тот, за кого ты меня принимаешь». — «Ах, не тот? — Кончик носа у меня замерз, совсем в сосульку превратился. — Нет, вы меня не обманете, вы — полковник Санроман, я это знаю из-за чайки».

Я смотрю на него, но не вижу. «Да, из-за чайки, сеньор.

Она бьется у меня в голове, ей воздуха не хватает, и летать она не может, птицам ведь простор нужен, а когда их загоняют кому-нибудь под черепную коробку, их крылья слипаются от тесноты, понимаете, полковник?» Голос в ответ звучит все громче, уже гремит целый хор голосов, барабанные перепонки у меня вот-вот лопнут — не кричи же так, голос! Но он говорит какие-то странные вещи, вроде того, что его совесть — как живая рана. Но разве у голосов бывает совесть? Может, я неправильно расслышал?

— Вас усики выдают, Санроман.

Санроман резким движением срывает усы.

— Знаете, кого вы мне сейчас напоминаете? Никак не догадаетесь, сеньор Санроман.

— Я пришел убить тебя.

— Это я и так знаю. Могли бы не говорить. Но предупреждаю вас, что от этого у вас на всю жизнь останется горький осадок. Вы поблизости чайки не видите? Хотя все равно. Она рано или поздно влезет вам в голову, так там и останется. Вот увидите, сеньор Санроман.

— Я не Санроман. Я Пападок. И я пришел тебя убить. Ты сегодня третьим будешь.

Третьим? Я пытаюсь улыбнуться, но оказывается, разучился это делать — легкая и небрежная улыбка у меня не получается, выходит лишь жалкая гримаса, а голова бессильно падает на грудь.

— Но сначала мне хотелось бы поговорить с тобой, Хосечу.

— Что ж, говорите. Говорите, полковник, не стесняйтесь. Я вас слушаю. Весь обратился в слух. Так, кажется, говорят?

Голос: «Я сегодня прикончил генерала. Сам. Я сделал это, чтобы показать тебе, на что способен. Все очень легко оказалось. Я вошел в его кабинет в его же собственном доме и вогнал ему в голову две пули. При этом я все время думал о тебе, так что...»

— Ну и в добрый час, — прерываю я его.

— Так что убил его вроде бы ты. Ты — его убийца. Говорю тебе это затем, чтобы ты понял, все мы — убийцы. Имена жертв и палачей — дело второстепенное. Да и число их — тоже. Всякий раз мы убиваем все вместе. И каждый из нас в отдельности.

Я начинаю понимать. Да это же мой отец, решивший доказать мне, что он вовсе не мокрая курица, как я считал.

— Помнишь, отец, когда надо было прирезать цыпленка, ты всегда прятался, да и телята от тебя легко вырывались, матери приходилось закалывать их. Все так и шло, пока я смелости не набрался. Именно мать меня научила этому, не ты. Хватаешь цыпленка за голову, одной рукой закрываешь ему клюв, чтобы он не пищал — этот писк потом долго уши разрывает, — другой рукой берешь хорошо отточенный нож, только он должен быть хорошо наточен, верно?..

— Я не твой отец! Я Пападок.

Отец влепляет мне пощечину. И еще одну. Ну и ручища у него, все лицо у меня горит, надо же. И снова голос:

— Я все вижу и все понимаю лучше других, да, я бросил вызов Богу, и мне хотелось бы поговорить с тобой об этом... Кто тебя наркотиками накачал?

— По правде говоря, не знаю точно кто. Мы все тут собрались, и Гайолита...

— Накачали не накачали, все равно я должен тебя убить.

Голос вдруг теплеет:

— Знаешь, в чем главная опасность? Тебе это начинает нравиться. Твоя власть над жизнью и смертью людей отравляет сознание, растлевает душу, опьяняет подобно наркотику, и ты думаешь лишь о том, чтобы нажимать и нажимать на курок. Тебя преследуют кровавые видения, душат кошмары, но ты не можешь отвязаться от мыслишки: «А как этот примет смерть?» Тяжело признаться, но боюсь, порок завладел и мною. Вот и сейчас, перед тем как выстрелить в тебя, меня охватывает непреодолимое желание увидеть, как ты умрешь на моих глазах. Это бывает по-разному. Одни подпрыгивают на месте, обычно те, что сидят, например, как генерал Вильякорта, — ты бы только видел его в этот момент! — другие сваливаются на пол мешком; есть и такие, кто еще успевает сделать несколько шагов вперед, представляешь, шагающий труп — ты такое когда-нибудь видел? Самый непреодолимый соблазн — наблюдать, как умирают трусы вроде Сантамарии, ползая по полу, я его только что пристрелил, часа еще не прошло; ты бы только видел эту картину, до чего же нелепо он сучил ногами, разве сравнишь с тем, как, гордо умирая на арене,

бьет копытами по воздуху поверженный бык. Сантамария дрыгал ногами как марионетка или раскапризничавшийся ребенок, меня прямо смех разбирал, Хосечу. Есть вещи, которые навсегда врезаются в память. Развороченные внутренности, например. Каких только причудливых форм они не бывают! Или краски на лице умирающего. Зеленый цвет — цвет страха; желтый — ненависти; лиловый на губах — знак того, что не выдерживает сердце; краски меняются иногда в считанные доли секунд, у каждой из них свой сокровенный смысл. Лиловая — тоже верный признак страха. Знаешь, цвет крови не всегда одинаков. Он ведь бывает разных оттенков, все зависит от момента убийства и от того, откуда вытекает кровь. Если из головы, то яркая и пузырящаяся, из груди — матовая, из живота — вязкая и почти черная.

Я вспоминаю слова Гайолиты: «У него мягкие повадки, но на самом деле он зверь». И тут голова моя мигом проясняется: это же Пападок, и он пришел убить меня! Я шевелю ногами и убеждаюсь, что пистолет на месте, он будто пульсирует, напоминая о себе как живой. Надо спешить, потому что Пападок окончательно тронулся. Впрочем, и раньше он был сумасшедшим. Поэтому не спал ночами, все замышляя и разрабатывая планы новых убийств. В конце концов он добрался бы и до своих, до тех, кто входит в его боевую группу. Пападок психически больной человек, в этом его несчастье.

— Что-то живот болит,— говорю я. И ослабляю пояс, а Пападок продолжает свой монолог:

— Господь наказал меня при жизни. Приговорил меня навечно, понимаешь? Он вогнал мне в мозг наркотик убийства, и мне не дано излечиться.

Держась рукой за живот, я мизинцем оттягиваю резинку трусов и пытаюсь достать пистолет. Надо отвлечь его внимание, а потом быстрым движением выхватить оружие и стрелять в голову. Как мне Гайолита велела: «Только в голову стреляй, Хосечу».

— Но ведь у тебя святая цель,— говорю я.

— Наступает момент, когда цель вообще исчезает. Остается лишь острое любопытство: как примет смерть твоя жертва. Желание увидеть, как она умрет. Но не просто увидеть — еще и вдохнуть запах крови, ее мягкий, сладко-

ватый аромат, который в конце концов сводит человека с ума. Запах уходящей жизни, Хосечу. Между бытием и небытием — еле различимый порог, почти неуловимый переход, даже биологи его еще точно не определили, а я чувствую его, мне достаточно вдохнуть хоть на миг этот аромат, и, поверь мне, такое возмещает все страдания. Я тебе признаюсь в этом, потому что уверен: ты меня поймешь. Ты достаточно умен и тонок для этого.

— Дай мне попить,— прошу я его.

— Нет.

— Почему?

— Ты хочешь меня обмануть. Я чувствую нутром, что ты что-то затеял.

— Значит, ты возьмешь и спокойно меня убьешь?

— Да, спокойно и без тени колебания.

— И ты не страшишься Господа?

— Пусть его страшатся те, кто суеверен. А во мне живет настоящий страх господень — это уже совсем другое дело. Я знаю, приговор мне вынесен. Не спрашивай, откуда я это знаю, потому что я и сам себе не могу этого объяснить. Возможно, я обречен вечно страдать от моих ночных кошмаров. Не исключено, это и станет моим адом. Но все равно я должен тебя убить. Сейчас.

— Я же безоружен. И болен.

— Мне нужно видеть, как ты умрешь. В каком-то смысле я увижу свою собственную смерть.

Я различаю тень в глубине коридора — это Усатый. Прижавшись к стене, он направил пистолет в нашу сторону. Звучат выстрелы.

## Эпилог

Газеты, радио и телевидение расценили случившееся как заурядное сведение счетов. Сообщалось, что во время перестрелки неизвестный, похожий на цыгана, был убит на месте пулей в голову. Второго, переодетого в военную форму, прикончили выстрелом в спину. Об этом человеке вскоре распространилась легенда, что он был одним из наиболее опасных главарей Организации, за которым охотилась полиция. Летом семьдесят шестого года он исчез при таинственных обстоятельствах на границе с Францией, и хотя боевики враждебных ЭТА группировок заявили, что ликвидировали его, тело его так и не было обнаружено.

Но я-то знаю, что дело вовсе не в сведении счетов. На самом деле Пападака убил Усатый — он убил его, хотя любил больше жизни и всегда преданно служил ему. Сделал он это, разумеется, по ошибке. Никогда не забыть мне его полный отчаяния звериный вой, когда он увидел, кого застрелил. Я думал, что он меня тоже прикончит — я ведь был тут же, совсем рядом. Но он приставил пистолет к виску и нажал на курок. Тело его задергалось на полу в предсмертных судорогах, будто по нему пустили сильный электрический ток.

Еще хочу добавить, что я присутствовал на похоронах Гайолиты, убитой разрывной пулей в голову в уличном столкновении с жандармами месяца два спустя после описываемых событий.

Микеля — он сдался властям в ту же ночь, когда все это произошло, — пытаются вылечить в тюремной больнице от тяжелейшей депрессии, но, судя по всему, тщетно. Что касается Зина, то он идет по моему следу с тех пор, как я покинул Организацию и поселился в этом рыбацьем поселке, где и написал эту историю, сидя у моря и наблюдая за чайками, которые ко мне теперь вполне доброжелательны.

Рано или поздно мы с ним обязательно встретимся. Я читаю это каждое утро, как просыпаюсь, в глазах Бегоньиты.

## Сарагоса К.

**С20 И Господь на последнем берегу: Роман/Пер. с исп. и предисл. Хуана Кобо.— М.: Известия, 1990.— 192 с. (Библиотека журнала «Иностранная литература»)**

Молодой герой остросюжетного романа К. Сарагосы совершает политическое убийство и становится членом одной из группировок ЭТА — баскской лево-националистической террористической организации. За полтора года пребывания в ней Хосечу (таково имя протагониста) не только разочаровался в терроризме как методе ведения революционной борьбы, но и глубоко осознал, что никто ни при каких обстоятельствах не вправе распоряжаться жизнью своего ближнего, что нарушение заповеди «не убий» ведет к разрушению и перерождению человеческой личности.

С  $\frac{4703000000-004}{074(02)-90}$  65-90

**ББК 84.4.Ис  
И(Исп)**

## КРИСТОБАЛЬ САРАГОСА И ГОСПОДЬ НА ПОСЛЕДНЕМ БЕРЕГУ

Художественный редактор *С. Мухин*

Технический редактор *И. Клыкова*

Корректор *Л. Шмелева*

ИБ № 1453

---

Сдано в набор 04.05.89. Подписано в печать 29.01.90. Формат 70 × 100/32. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,8. Усл. кр.-отт. 8,1. Уч.-изд. л. 9,98. Тираж 50 000 экз. Зак. № 604, Цена 1 р. 10 к.

---

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
103791, Москва, Пушкинская пл., 5.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига» Государственного комитета по печати.

143200, Можайск, ул. Мира, 93.

---

В 1989 году в Библиотеке журнала  
«Иностранная литература» вышли в свет:

Хорхе Семпрун  
(Франция)  
«Долгий путь»

Гилберт Кийт Честертон  
(Великобритания)  
«Человек, который  
был Четвергом»

Сэмюэль Беккет  
(Ирландия)  
«Изгнанник»

Бьёрг Вик  
(Норвегия)  
«Недостоверные  
данные о счастье»

Урсула Ле Гуин  
(США)  
«Порог»

Эдогава Рампо  
(Япония)  
«Психологический тест»

Кристоф Хайн  
(ГДР)  
«Смерть Хорна»

Антун Шолян  
(Югославия)  
«Гавань»

Станислав Игнацы  
Виткевич  
(Польша)  
«Сапожники»

Юдора Уэлти  
(США)  
«Золотой дождь»



**Кристобаль Сарагоса** (р. 1923) — испанский писатель — прозаик и публицист. В 1969 г. дебютировал как романист двумя книгами: "Оглушающая тишина" и "Они не обрели земли обетованной". Затем последовали романы "Смена рубашки" (1972), "Ману" (1973, премия "Атенео де Севилья"), "Поколения" (1980), "И, наконец, свобода" (1986, международная премия издательства "Пласа и Жанес") и др.

Роман "И Господь на последнем берегу" (1981) был отмечен крупнейшей в Испании литературной премией "Планета" и переведен на многие языки.